

Пятница, 4 января

Жизнь стала или слишком устойчивой, или слишком изменчивой. Меня преследует это противоречие. Оно было всегда; будет всегда; доходит до самого центра мира — где я теперь нахожусь. А еще жизнь временная, летучая, прозрачная. Я проскользну, как облако над волнами. Возможно, хотя мы меняемся, но летим очень быстро одно за другим, очень быстро, но все же наследуем и продолжаем, мы, человеческие существа, и освещаем путь. Но что такое свет? Я под большим впечатлением мимолетности человеческой жизни, причем до такой степени, что часто прощаюсь — пообедав — с Роджером, например; или считаю, сколько еще раз смогу повидаться с Нессой.

Четверг, 28 марта

Право, это ужасно; еще ни один дневник я не бросала так долго. Суть в том, что шестнадцатого января мы уехали в Берлин, потом я три недели провалялась в постели и не могла писать по крайней мере еще три недели, а с тех пор отдаю свою энергию еще одному приступу сочинительства — пишу, что придумала в постели, окончательную версию «Женщин и художественной литературы»*.

И, как всегда, мне скучен повествовательный жанр. Хочу рассказать, как сегодня встретила Нессу на Тоттенхем-Корт-роуд, мы обе совсем утонули в отражениях, в которых плаваем. Она уезжает в среду на четыре месяца. Странно, но вместо того, чтобы разбежаться в стороны, мы все больше сближаемся. В голове у меня теснились тысячи мыслей, когда я несла чайник, грампластинки и чулки под мышкой. Это один из

* «Своя комната» (Прим. переводчика).

тех дней, которые я называла «могущественными», когда мы жили в Ричмонде.

Возможно, я не должна повторять то, что всегда говорила о весне. Надо, по-видимому, постоянно искать что-то новое, пока жизнь продолжается. Надо придумать новый стиль повествования. В моей голове все время появляется много новых идей. Вот одна из них: я должна отправиться в монастырь на несколько месяцев; дать себе возможность покопаться в своих мыслях; с Блумсбери покончено. Мне надо прямо посмотреть на некоторые вещи. Начинается время приключений и наступления, довольно одинокое и болезненное, как мне кажется. Однако одиночество полезно для новой книги. Конечно же, у меня будут друзья. Я стану более открытой. Куплю несколько красивых платьев и буду ходить в гости. И постоянно буду наступать на угловатое нечто у себя в голове. Думаю, у «Мотыльков» (если я так назову книгу) окажутся очень острые углы. Однако мне не нравится форма. Здесь есть неожиданное изобилие, которое может обернуться обычной беглостью. В книгах прежних времен очень многие фразы были как будто вырублены топором из льда: а теперь мой разум очень нетерпелив, очень спешит и в каком-то смысле доведен до отчаяния.

Воскресенье, 12 мая

Ну вот, закончила то, что называется последней редакцией «Женщин и художественной литературы», так что Л. может почитать книгу после чая, а я сделаю передышку. Насос, который я радостно считала замершим, заработал снова. Насчет «Женщин и художественной литературы» я не уверена — блестящее эссе? — скажем так: в нем много работы, многие мысли сварены до консистенции желе, ставшего таким красным, каким только возможно. Мне не терпится освободиться — писать, не чувствуя границ, заметных в чьих-то глазах: здесь слишком знакомая публика; факты; их можно перековать; легко подогнать друг к другу.

Вторник, 28 мая

Насчет моих «Мотыльков». Как мне начать? Какой эта книга должна быть? Я не чувствую большого подъема; горячки; лишь непосильный гнет трудностей. Зачем же ее писать? Зачем вооб-

ще писать? Каждое утро я пишу небольшой набросок, чтобы доставить себе удовольствие. Я не говорю, но могла бы сказать, что эти скетчи имеют некий смысл. Я не пытаюсь рассказать историю. И все же, возможно, получится именно так. Мозг думает. Может быть, это островки света — островки в потоке, который я пытаюсь показать, безостановочной жизни. Туча мотыльков, устремленных в этом направлении. В центре лампа и горшок с цветами. Цветок может постоянно меняться. Но между сценами должно быть больше единства, чем есть в данный момент. Можно назвать это автобиографией. Как мне сделать один раунд, или акт, в устремлении мотыльков более интенсивным, чем другой, если это всего лишь сцены? Читатель должен понять, где начало; где середина; где кульминация — когда она открывает окно и мотылек влетает в комнату. У меня должно быть два разных потока — летящие мотыльки; в центре цветок, тянущийся вверх; постоянное умирание и воскрешение растения. В его листьях она могла бы видеть происходящее. Но кто она? Мне бы очень хотелось, чтобы у нее не было имени. Я не хочу ни Лавинии, ни Пенелопы: пусть будет «она». Однако так слишком искусственно. Свобода, листья, стая: символика в свободных одеждах. Конечно же надо, чтобы она размышляла сознательно и бессознательно; я умею рассказывать истории. Но здесь не то. Что угодно может быть за окном — корабль — пустыня — Лондон.

Воскресенье, 23 июня

Был очень жаркий день; ездили в Вортинг навестить мать Лео-онарда; у меня болело горло. На другое утро началась головная боль — так что мы до сегодняшнего дня в Родмелле. Здесь я читаю «Обыкновенного читателя»; и это очень важно — я должна научиться писать более сжато. Особенно в эссе на общую тему, потому что, читая последнее — «Впечатления современника» — я была в ужасе от собственных разглагольствований. Так получается отчасти потому, что я ничего не продумываю заранее; отчасти потому, что я слишком занята своим стилем и теряю смысл. В результате вихляние, многословность и отсутствие воздуха, чего я терпеть не могу. Надо будет всерьез поработать над «Своей комнатой», прежде чем ее печатать. А я вновь в моем великом озере печали. Господи, какое же оно глубокое! Да я прирожден-

ная меланхоличка! Единственное, что держит меня на плаву — это работа. Заметка на лето — я должна набрать больше работы, чем реально смогу сделать, — я не знаю, откуда это приходит. Только перестая работать и сразу начинаю тонуть, тонуть. И всегда чувствую, что если буду плыть дальше, то дотянусь до правды. Это единственное оправдание; в какой-то мере благородство. Торжество. Я заставлю себя увидеть, что там ничего нет — ничего нет ни для кого из нас. Работа, чтение, творчество — маски; и отношения с людьми. Да, бессмысленно даже иметь детей.

Тем не менее, я начинаю видеть «Мотыльков» даже слишком ясно или, скажем, упорно — для моего спокойствия. Думаю, книга будет начинаться так: заря; ракушки на берегу; не знаю — голос петуха и соловья; потом все дети собираются за длинным столом — уроки. Начало. Ну, должны быть разные персонажи. Человек, который за столом, может в любой момент позвать кого-то из них и с его помощью создать соответствующее настроение, рассказать историю; например, о собаках или нянях; или о каком-нибудь детском приключении; о лодках на пруду; должно быть детское ощущение; нереальность; неправильные пропорции. Потом надо выбрать другого человека, все равно кого. А вокруг нереальный мир — фантомные волны. Прилетает мотылек; прелестный мотылек; один. Можно ли сделать так, чтобы все время слышались волны? Или шум с фермы? Неясные звуки. У нее может быть книга — одна книга, чтобы читать, — другая книга, чтобы писать в ней, — старые письма. Свет как ранним утром — однако это не обязательно; потому что все должно быть совершенно свободно от «реальности». И все же ничего случайного.

И все это, конечно же, «реальная» жизнь; а ничто приходит, лишь когда ее нет. Я доказала это совершенно определенно в последние полчаса. Стоит мне задуматься о «Мотыльках», и все внутри меня зеленеет и оживает. Еще мне кажется, человек вполне в состоянии войти в другие...*

Понедельник, 19 августа

Наверное, прервалась из-за обеда. Однако сейчас открыла дневник в другом настроении — отметить тот благословенный

* Незаконченное предложение (Прим. переводчика).

факт, что на радость или на беду, но я закончила править «Женщин и художественную литературу», или «Свою комнату». Никогда больше не буду ее читать, как мне кажется. Радость или беда? Какая все же нелегкая жизнь отражена в ней: есть ощущение человека, который, выгнув спину, скачет что есть мочи, хотя, как обычно, много воды, нет устойчивости и голос слишком высокий.

Понедельник, 10 сентября

Леонард на пикнике в Чарльстоне, а я тут — «усталая». Почему я устала? Ну, я никогда не бываю одна. Это первое из моих сетований. Я устала не столько физически, сколько психологически. Я переутомляюсь и выжимаю из себя все на журналистику и гранки; да еще подспудно складывается книга «Мотыльки». Складывается, но складывается слишком медленно; и не могу сказать, что хочу писать ее, хотя думаю о ней вот уже две или три недели, скажем — чтобы собрать все мысли в один поток и позволить ему затопить себя. Напишу, пожалуй, несколько фраз утром на подоконнике. (Все ушли в какое-то красивое место — Хёрстмонсо*, возможно — странным туманным вечером — и все же, когда наступило время идти, мне хотелось лишь одного — одной отправиться в горы. И вот теперь я чувствую себя немного забытой, брошенной и обманутой, что было неизбежно.) Каждый раз, стоит мне попасть в нужный поток мыслей, я тотчас выпрыгиваю из него. У нас Кейнсы; приехала Вита; потом Анджелика и Ева; потом мы поехали в Вортингтон, а потом у меня стало стучать в голове — и вот я здесь; не пишу — это не имеет значения, но и не думаю, не чувствую, не смотрю — и в одиночестве жду вечера как счастья — в это мгновение в стеклянной двери появился Леонард; они не поехали ни в Хёрстмонсо, ни куда бы то ни было еще; здесь были Спротт и горняк, так что я ничего не потеряла — первое эгоистическое удовольствие.

На самом деле это предчувствие книги — состояние творящей души — очень странное и немного страшное...

И потом, мне уже сорок семь лет: да; и мои немощи не дают мне покоя. Начнем с того, что у меня неладно с глазами. В про-

* Замок XV в. в семидесяти км к югу от Лондона (Прим. переводчика).

шлом году, кажется, я могла читать без очков; взять газету и читать ее в ванне; но постепенно выяснилось, что мне нужны очки, когда я читаю в постели; а теперь я не могу прочитать ни строчки (если только под очень странным углом) без очков. Мои новые очки гораздо сильнее прежних, и когда я снимаю их, то на мгновение совсем слепну. Остальные немощи? Слышу я, кажется, превосходно; хожу как будто тоже как прежде. Но ведь все равно придется менять уклад жизни. Разве это не трудно и не опасно? Очевидно, что можно это одолеть, не теряя рассудка — естественный процесс; можно лежать тут и читать; способности останутся прежними; нечего волноваться, но это в одном смысле — я написала несколько интересных книг и могу зарабатывать деньги, могу позволить себе отдых. — О нет; нечего беспокоиться; и эти забавные перерывы в жизни — у меня их было много — в художественном отношении они очень плодотворны — вспоминаю свое безумие в Хогарте — и все мелкие болячки — это было до того, как, например, я написала «На маяк». Шесть недель в постели сделают из «Мотыльков» шедевр. Только название нужно другое. Мотыльки, как я только что вспомнила, не летают днем. У меня не должно быть зажженной свечи. Да и об объеме книжки надо подумать — со временем все уладится. А пока конец.

Среда, 25 сентября

Вчера утром я предприняла еще одну попытку начать «Мотыльков», но нужно менять название; и еще несколько проблем кричат благим матом, требуя разрешения. Кто думает об этом? Только не я. Хочется какого-то приема, который не был бы трюком.

Пятница, 11 октября

Я ухватилась за мысль писать тут, лишь бы не писать «Волны», или «Мотыльков», как это ни назови. Считаешь, что уже научилась писать быстро, ан нет. И что странно, я пишу без радости и удовольствия: из-за сосредоточенности. Я не разматываю историю, а клею ее. И еще никогда в жизни я не пыталась освоить столь размытый, хотя и разработанный проект; когда я что-то вношу в текст, то должна соотносить это с дюжиной других «что-то». Мне не составляет труда двигаться вперед, а я все

время останавливаюсь, чтобы уточнить результат целого. В частности, нет ли в моей конструкции какой-нибудь серьезной ошибки? Я не совсем удовлетворена моим методом — брать какую-то вещь в комнате и с ее помощью вспоминать о других вещах. Все же в данный момент не могу выбросить ничего из того, что близко к первоначальному плану и от чего зависит движение. Надеюсь, эти октябрьские дни будут хоть и немного напряженными, но тихими. Я сама не совсем понимаю, что имею в виду под последним словом, поскольку никогда не прекращала «видеть» людей — Нессу и Роджера, Джефферсов, Чарльза Бакстона, хотела бы свидеться с лордом Дэвидом и Элиотами — о, и конечно же, с Витой. Нет, дело не в физической тишине; речь о каком-то внутреннем одиночестве — интересно было бы проанализировать его, если это кому-то по плечу. Вот пример — я шла сегодня по Бедфорд-плейс, прямой улице с пансионатами, — и вдруг сказала себе что-то вроде этого. Я очень страдаю. И никто не знает, как я страдаю, проходя по этой улице, вся поглощенная своей мукой и точно так же, как когда умер Тоби, — одна; сражаюсь тоже одна. Но тогда был дьявол, с которым я сражалась, а теперь нет ничего. И когда я вхожу в дом, в нем совсем тихо — я не несу в голове стремительно кружащихся колесиков — и все же я пишу — о да, мы добились большого успеха — и еще есть — то, что я больше всего люблю — перемена впереди. Кстати, вчера вечером, когда Леонард против своей воли приехал за мной в Родмелл, приехал и Кейнс. Мэйнард отказывается от «Нейшн», Хьюберт* тоже, мы наверняка тоже откажемся. Стоит осень; рано зажгли свет; Несса на Фицрой-стрит — в большой сыроватой комнате, где горит газ и куча тарелок и бокалов на полу — быстро растет спрос на «Пресс»** — известность становится непреходящей — я богаче, чем когда бы то ни было — сегодня купила себе пару сережек — а за все это пустота и тишина где-то в машине. Вообще-то я не очень возражаю; потому что люблю, когда кидает из стороны в сторону и то, что я называю реальностью, не дает сбиться с пути. Если бы я не ощущала это невероятное всепоглощающее напряжение — беспокойство, или покой, или счастье, или дис-

* Хьюберт Хендерсон.

** Издательство «Хогарт-пресс».

комфорт, — я бы скатилась в уступчивость. Должна быть борьба; и когда я просыпаюсь рано утром, я говорю себе: сражайся, сражайся. Если бы у меня был шанс ухватить это ощущение, я бы это сделала; ощущение того, как поет реальный мир, когда одиночество и тишина извлекают человека из привычной жизни; не покидающее меня ощущение, что моя судьба — приключение; что я до странности вольна теперь, имея деньги и все прочее, делать что хочу. Иду покупать билеты в театр (Мать) и просматриваю список дешевых экскурсий, который висит на стене, и тотчас мне приходит в голову поехать на завтрашнюю общедоступную ярмарку в Стратфорде-он-Эйвоне — почему бы нет? — или в Ирландию, или в Эдинбург на уикенд. Увы, я не поеду. Но все-таки есть возможность. И эта забавная лошадка, жизнь, настоящая. Понятно ли то, что я хотела сказать? Однако я еще не опустила руки. Странно, но мне вдруг пришло в голову — я скучаю по Клайву.

Среда, 23 октября

Вот так — пишу около часа, потом на меня накатывает страх, что я не в состоянии управлять собственными мыслями, — потом печатаю, и к двенадцати часам совершенно вымотана. Я суммирую здесь мои впечатления, пока «Своя комната» не вышла в свет. Немного страшно, что Морган не будет писать статью о книге. Я начинаю подозревать, что в ней заключен резко выраженный феминизм, которого мои друзья не любят.

Он написал мне вчера, 23 дек., сообщил, что ему очень понравилось

Приходится прогнозировать, что никто ничего не напишет, разве лишь будут шуточные уклончивые отклики Литтона, Роджера и Моргана; пресса отнесется ко мне по-доброму и особенно выделит очарование и живость повествования; а еще на меня нападут как на феминистку и намекнут, будто я последовательница Сапфо; Сибил пригласит меня на ланч; я получу довольно много писем от молодых женщин. Боюсь, книгу не воспримут серьезно. Миссис Вулф настолько владеет мастерством, что ее книги легко читаются... чисто женская логика... эту книгу полезно читать девушкам. Впрочем, мне почти все равно. «Мотыльки» — правда, думаю, они станут «Волнами» — продвигаются туго; но они у меня есть, если будет совсем плохо. Это без-

делушка, как я считаю, так оно и есть, но я писала ее с жаром и убежденностью.

Вчера вечером обедали с Уэббами, к чаю пришли Эдди* и Дотти**. Что касается подобных продуманных обедов, то поговорить на них можно лишь с одним человеком — с Хью Макмилланом — о Бьюкенах и о его собственной карьере; Уэббы дружелюбны, но остаются при своем мнении насчет Кении; мы сидим в двух комнатах арендуемого дома (в столовой медный остов кровати за ширмой); едим большие куски красного мяса; и нам предлагают виски. Все та же просвещенная, безличная, отлично управляемая атмосфера. «Моему малышу нужны игрушки» — но дальше заходить не рекомендуется — «так говорит моя жена насчет моего времяпрепровождения в кабинете». Нет, у них нет иллюзий. А я сравнивала их с Л. и с собой и чувствовала (именно по этой причине) пафос, символический смысл бездетной пары, которая что-то значит, которую что-то объединяет.

Суббота, 2 ноября

Пока у меня все в порядке со «Своей комнатой»; полагаю, она продается; а я получаю неожиданные письма. Однако сейчас меня волнуют «Волны». Только что напечатала утреннюю порцию и не чувствую уверенности. Что-то в этой книге есть (так же я чувствовала насчет «Миссис Дэллоуэй»), но я не могу до конца понять ее; ничего похожего на скорость и уверенность романа «На маяк»; а «Орландо» — лишь детская игрушка. Может быть, в методе заложена фальшь? Трюкачество? — и интересные вещи не обоснованы фундаментально? У меня странное состояние; я чувствую расслоение; вот что-то интересное; а достаточно массивного стола, чтобы это на него поставить, нет. Не исключено озарение при повторном чтении — какой-нибудь растворитель. Я убеждена, что имею право искать место, где мои персонажи будут на фоне времени и моря — но, Господи, как трудно вписать их туда, причем убедительно. Вчера я была уверена в своей правоте; а сегодня от моей уверенности не осталось и следа.

* Э.Сэквилл-Вест.

** Лорд Макмиллан.

Суббота, 30 ноября

Пишу с омерзением; закончила утреннюю работу. Начала вторую часть «Волн» — не знаю. Не знаю. Чувствую, что пока лишь собираю заметки для книги — один Бог знает, смогу ли осилить ее. Я могла бы соединить все вместе, продумай я все лучше — в Родмелле, в моей новой комнате. Чтение «Маяка» не облегчает работу...

Воскресенье, 8 декабря

Я читаю и читаю и прочитала, думаю, целых три фута толстой рукописи, внимательно прочитала; слишком многое погранично и требует размышлений. Теперь, когда груз сброшен, я вольна читать елизаветинцев — забытых, маленьких авторов, которых я по своему невежеству никогда не читала, — Путтенхэма, Уэбба, Харви. Эта мысль наполняет меня радостью — без преувеличения. Читать с карандашом в руке, делать открытия, искать промахи, думать о фразах, когда почва совсем чужая, остается моим любимым занятием. Ох, Л. хочет сортировать яблоки, а даже малейший шум меня раздражает; не могу придумать, что сказать ему.

Итак, я прекратила писать, и ничего особенного не произошло, зато я составила список Елизаветинских поэтов. И еще я с большой радостью отказалась писать о Роде Бротон и Уиде ради де ла Мэра. Эта жила, какой бы богатой она ни была теперь, беру в свидетельницы Джейн и Джеральдин, скоро иссякнет во мне. Хочу писать критику. Почему бы не вытащить одного-двух неизвестных персонажей. В первую очередь я полюбила Елизаветинскую прозу, и сильнее всего меня притягивает к себе Хэклит, которого папа когда-то принес мне, — я думаю об этом с нежностью — папа ищет книгу в библиотеке, помня о маленькой девочке на Гайд-Парк-гейт. Ему тогда было лет шестьдесят пять; а мне пятнадцать или шестнадцать; и я, сама не знаю почему, так увлеклась Хэклитом, хотя и не очень им заинтересовалась, но вид большой желтоватой страницы заворожил меня. Я читала, и мечтала о неведомых путешествиях, и, несомненно, копировала стиль в своей тетрадке. Тогда я писала длинное колоритное эссе о христианской религии, насколько помнится; под названием «Religio Laici», если не ошибаюсь, доказывая, что человек нуждается в Боге; однако Бог был описан в процес-

се перемен; и еще я написала историю Женщин; и историю моей собственной семьи — все эссе были очень многословными и елизаветинскими по стилю.

Родмелл — Святки

Это было почти неправдоподобно умиротворяюще — две недели назад — почти невозможно разрешать себе такое. Мы безжалостно отвергли всех гостей. Мы сказали себе, что хотя бы один раз проведем этот день одни; и в самом деле, это оказалось возможным. Кстати, Анни мне очень симпатична. Хлеб получился на славу. Все было довольно весело, просто, быстро и хорошо — кроме того, что я случайно натолкнулась на «Волны». Написала две страницы сущего вздора; как бы с напряжением; вариации всех фраз; компромиссные варианты; плохие куски; возможности; пока моя тетрадь не стала похожа на бред сумасшедшего. Тогда я доверилась вдохновению и вновь все перечитала, возвращая книге кое-какой смысл. Все же у меня нет удовлетворения. Мне кажется, я что-то упустила. Но я ничего не приносила в жертву приличиям. Жму в самый центр. И наплевать, если придется все вычеркнуть. Что-то там есть. Теперь я собираюсь принять жестокие меры — в Лондоне — в беседе — локтями пробивая себе дорогу, — а потом, если ничего не получится — пусть, я испробовала все возможности. Однако жаль, что книга мне не нравится. Я не держу ее целые дни в голове, как «На маяк» и «Орландо».

Воскресенье, 12 января

Воскресенье. И я только что воскликнула: «Как это у меня получается ни о чем больше не думать!» Из-за моей неуступчивости, из-за моего упрямства я теперь вряд ли смогу бросить «Волны». Эта мысль пришла ко мне ровно неделю назад, когда я начала писать «Фантомный прием»; и теперь я чувствую, что могу устремиться вперед после шести месяцев тяжелой работы и закончить книгу; однако у меня нет никакого представления, какую форму придать ей. Многого надо отбросить: главное — писать быстро и не терять настрой — никаких каникул, никаких перерывов, если получится, пока книга не будет написана. Потом отдыхать. Потом все переписывать.

Воскресенье, 26 января

Мне сорок восемь лет: мы были в Родмелле — опять дождливый, ветреный день; в мой день рождения мы бродили между холмами, похожими на сложенные крылья серых птиц; и сначала увидели одну лисицу, очень длинную и с вытянутым хвостом, а потом другую, эта лаяла, потому что солнце светило слишком ярко; она легко перепрыгнула через изгородь и вошла в заросли дрока — такое редко увидишь. Сколько еще лис осталось в Англии? Вечером читала жизнь лорда Чаплина. Пока еще не привыкла писать в моей новой комнате, потому что стол не той высоты и мне приходится наклоняться, чтобы согреть руки. Все должно быть в точности так, как я привыкла.

Забыла сказать, что когда мы подводили итог за полгода, оказалось, в прошлом году я заработала 3020 фунтов — жалованье государственного служащего: удивительно для человека, много лет довольствовавшегося 200 фунтами. Тем больнее будет падать.

Продано около 6500 экземпляров на сегодня, 30 октября 1931 г. — через три недели. На этом, думаю, все закончится.

«Волн» мы продадим не больше 2000 экземпляров. Думаю, все закончится. Я очень привязана к этой книге — то есть приклеена к ней, как муха к липкой бумаге. Иногда меня лучше не трогать, но проходит время, и я опять через какое-нибудь яростное действие — например, продираюсь через утесник — понимаю, что получаю в руки нечто важное. Возможно, я сумею что-то сказать: по крайней мере, мне не надо постоянно подсчитывать строчки, чтобы моя книга стала нужного объема. Но как все соединить, как согласовать — сделать единым — я не знаю; и не могу придумать конец — это может быть гигантская беседа. Трудно с интерлюдиями, как мне кажется, важными: надо построить мосты и сделать задник — море; бесчувственная природа — не знаю. Но думаю, если я вдруг чувствую ясность, что все правильно: никакая другая художественная форма не дает шанс повторить мгновение.

Воскресенье, 16 февраля

Полежать бы неделю на диване. Сегодня я сижу в обычном состоянии неадекватного оживления. Немного хуже нормального — со спазматическими порывами писать, потом — спать. День прекрасный, холодный; если верх возьмут чувство долга и запасы энергии, то я отправлюсь в Хемпстед. Но сомневаюсь, что смогу писать. У меня в голове плавает облако. Я слишком занята своей плотью и вытолкнута из жизненной колеи, чтобы вернуться к литературе. Пару раз ощутила странное шуршание крыльев в голове, которое обычно слышу, когда слишком часто болею, — в прошлом году, например, в это время я лежала в постели, придумывая «Свою комнату» (два дня назад было уже продано 10 000 экземпляров). Если бы я могла оставаться в постели недели две (но это невозможно), мне кажется, я бы увидела «Волны» целиком. Или — почему бы нет? — могла бы подумать о чем-нибудь другом. Итак, я почти намерена настаивать на поездке в Касси; но, наверное, на это потребуются больше настойчивости, чем есть у меня; и мы останемся тут. Пинкер кружит по комнате, приглядывая солнечное местечко, — знак весны. Я верю, что в моем случае болезни — как бы это сказать? — отчасти мистические. Что-то происходит у меня в голове. Мозг отказывается регистрировать впечатления. Закры-

вается. Превращается в куколку. Я лежу оцепеневшая, частенько ощущая сильную боль — как в прошлом году; а в этом году — лишь дискомфорт. Потом — вдруг — что-то появляется. Вечера два назад приходила Вита; и когда она ушла, я прочувствовала вечер — приход весны: серебряный свет соединяется со светом рано включенных ламп; по улицам едут такси; у меня было потрясающее ощущение начала жизни и еще чувство, которое для меня главное, однако не поддается описанию (я продолжаю сочинять сцену в Хемптон-Корт для «Волн» — один Бог знает, как я удивлюсь, если закончу эту книгу! Пока передо мной куча мусора). Итак, я уже сказала, между долгими паузами, ибо мои мысли без толку кружат в голове и пишу я скорее, чтобы стабилизировать себя, нежели создать что-то стоящее, — я почувствовала, что началась весна: у Виты жизнь наполненная и блестящая; все двери открыты; мне кажется, мотылек машет крылышками у меня внутри. Я как будто начинаю видеть свою историю, что бы там ни было дальше; идеи бьются; очень часто исчезают, увы, прежде чем я запоминаю их и беру ручку. На этой стадии нет смысла записывать. Очень сомневаюсь, что мне удастся заполнить белое чудовище. Хотелось бы лечь и заснуть, но мне стыдно. Леонард за один день справился со своей инфлюэнцей и уже занимается делами, хотя все еще слаб. Я же бездельничаю, не одета, а завтра визит Элли. Но, как я сказала, мой мозг продолжает трудиться. У меня ничегонеделанье обычно самый продуктивный период. Читаю Байрона, Моруа, это отсылает меня к «Чайльд Гарольду»: заставляет размышлять. До чего странно: слабенькая сентиментальная миссис Хеманс и откровенная жизненная сила. Как они сошлись? В «Чайльд Гарольде» иногда «прекрасные» описания; как у великого поэта. У Байрона три элемента:

1. Романтическая черноволосая дама поет романсы под гитару.

Тамбурджи, тамбурджи! Ты будишь страну,
Ты, радуя храбрых, пророчишь войну...
Косматая шапка, рубаха как снег.
Кто может сдержать сулиота набег? —

Нечто искусственное; поза; глупость.

2. Энергичная риторика, подобная его прозе и такая же замечательная, как проза.

Рабы, рабы! Иль вами позабыт
Закон, известный каждому народу?
Вас не спасут ни галл, ни москвит,
Не ради вас готовят их к походу...

3. То, что звучит для меня почти истиной и почти поэзией.

Но ты жива, священная земля,
И так же Фебом пламенным согрета.
Оливы пышны, зелены поля,
Багряны лозы, светел мед Гимета.
...И небо чисто, и роскошно лето.
Пусть умер гений, вольность умерла, —
Природа вечная прекрасна и светла.

4. Есть еще чистая сатира, как в описании воскресного Лондона; и...

5. наконец (однако уже больше, чем три) очевидная полу-признанная полускрытая трагическая нота, которая повторяется как рефрен о смерти и потере друзей.

Что в старости быстрее всяких бед
Нам сеть морщин врезает в лоб надменный?
Сознание, что близких больше нет,
Что ты, как я, один во всей Вселенной.
...Все жизнь без сожаленья отняла,
И молодость моя, как старость, тяжела.*

В этом, я думаю, весь Байрон; то, что делает его поэзию настоящей, безвкусной, тем не менее, очень переменчивой и уж точно, богатой и гораздо более щедрой, чем у других поэтов, если бы он мог привести все это в порядок. Он мог бы быть романистом. Очень странно читать в его письмах настоящую прозу

* Все стихи взяты из Песни второй. Перевод В.Левика.

и чувствовать его искреннюю любовь к Афинам и сравнивать это с банальностью, которую он произносит в стихах. (Там есть даже глумление над Акрополем.) Впрочем, глумление тоже могло быть позой. Суть в том, что если поднимаешься на такую высоту, то приходится забыть об обычных человеческих чувствах; непременно появляется поза; напыщенная речь; остальное лишнее. Он писал в Альбоме, что ему сто лет. И это правда, если мерить жизнь чувствами.

Понедельник, 17 февраля

Температура поднимается, теперь опускается; а я...*

Четверг, 20 февраля

Я должна постараться и привести в порядок мозги. Может быть, написать о ком-нибудь скетч.

Понедельник, 17 марта

Тест для книги (с точки зрения писателя) в том, может ли она создать пространство, в котором с полной естественностью высказано то, что хотел высказать автор. Сегодня утром я могла бы повторить слова Роды. Это доказывает, что книга живая: ибо она не изуродовала сказанное мной, а приняла это в целостности и сохранности.

Пятница, 28 марта

Ну да, эта книга нечто странное. Я была очень возбуждена в тот день, когда сказала: «Дети не идут с ними ни в какое сравнение». Мы с Л. обсуждали книгу в общих чертах, и я ссорилась с Л. (из-за Этель Смит) и победила; чувствую давление формы — блеск, величие, — как, вероятно, никогда не чувствовала прежде. Однако я не поддаюсь возбуждению и продолжаю упорно работать; и мне кажется, это самая сложная и самая трудная из моих книг. Просто не представляю, как закончить ее, если не всеобщей дискуссией, в которой все виды жизни получают право голоса — мозаикой. Трудность, наверное, в сильном давлении изнутри. Я еще не выработала нужный тон. Все же мне кажется, в ней что-то есть; и я собираюсь напряженно рабо-

* Незаконченное предложение (Прим. переводчика).

тать, а потом все переписать, читая строчку за строчкой вслух, как стихи. Эта книга выдержит, если ее увеличить. Думаю, я ее слишком ужала. В ней — что бы там ни получилось — большая и важная тема, какой в «Орландо» все-таки не было. В любом случае я себя защитила.

Среда, 9 апреля

Теперь я думаю (насчет «Волн»), что умею несколькими мазками выделить индивидуальные черты в персонаже. Это надо делать храбро, словно рисуешь карикатуру. Вчера я взялась за, вероятно, последнюю часть. Как все другие части, он пишется судорожно, то быстро, то никак. Никогда мне не справиться с ним, он все время тащит меня назад. Но, надеюсь, он придаст вес книге; однако мне приходится очень следить за фразами. «Орландо» и «На маяк» держатся в большой степени на невероятно трудной форме — как это было в «Комнате Джейкоба». Мне кажется, я делаю шаг вперед; но, увы, кое-где за счет огня; мне как будто удалось — стоическим усилием — сохранить первоначальную концепцию. Чего я боюсь, так это переписывания, которое может решительным образом все спутать. Книга обречена на несовершенство. Но, полагаю, мне удалось поставить мои статуи на фоне неба.

Суббота, 13 апреля

Едва закончила писать, как взялась читать Шекспира. Мой мозг еще весь в нем и полыхает, как огонь. Это поразительно. Я даже представить не могла, как он велик — масштаб, скорость, словесная мощь, — пока не вытащила из себя все возможное и, как мне показалось, не стартовала вровень с ним, а потом увидела, что он уже далеко впереди и делает такое, о чем я даже в самых дерзких мечтах и буйных фантазиях не могла помыслить. Даже его менее известные пьесы имеют гораздо большую скорость, чем самые быстрые пьесы любого другого драматурга; слова падают так стремительно, что их невозможно подобрать. Вот: «Upon a gather'd lily almost wither'd»*. (Пример совершенно случайный. Просто эта фраза попала на глаза.) Очевидно, гибкость его ума была столь совершенной,

* «На сорванную, почти увядшую лилию...» (англ.).

что ему ничего не стоило воплощать в словах цепочки мыслей; и, расслабляясь, он беззаботно проливал на нас целый дождь подобных цветов. Почему у других хватает смелости писать после него? Вот только это не «писание». В самом деле, я бы сказала, что Шекспир обогнал литературу, если бы знала, что это значит.

Среда, 23 апреля

Сегодня очень важное утро в истории «Волн»; мне кажется, что я свернула за угол и вижу впереди последнюю финишную прямую. Думаю, без Бернарда не обойтись. Теперь он будет шагать, пока не остановится возле двери: а потом — последняя картина «Волн». Мы в Родмелле, и, надеюсь, я пробуду тут пару дней (если получится), чтобы не прерываться и довести дело до конца. О господи, потом можно будет отдохнуть; потом статья; а потом обратно к ужасному процессу перекраивания и переделывания. И все-таки в нем тоже есть свои радости.

Вторник, 29 апреля

Я только что написала, этими же чернилами, последнюю фразу «Волн». Мне показалось необходимым это отметить, чтобы не забыть. Да, я познала величайшее напряжение ума; естественно, последние страницы; не думаю, что они провалятся, как обычно. И еще я думаю, что на сей раз в точности держалась намеченного плана. Это я себе в похвалу. Однако мне еще не приходилось писать книгу, в которой было бы столько дыр и заплат, которая требует полной переделки, да-да, а не только отдельных изменений. Предполагаю, что сама структура неправильная. Неважно. Я могла бы написать что-нибудь легкое и простое; а это попытка описать видение, которое у меня было в то несчастливое лето — или три недели — в Родмелле после того, как я закончила «На маяк». (И это напоминает мне — я должна немедленно занять свой мозг чем-то еще или он опять станет ни на что не годным — какой-нибудь фантазией, если только это возможно, и светом; ибо мне еще предстоит утомиться Хэзлиттом и критикой после недолгого божественного отдыха; и у меня в голове уже мелькают смутные тени; жизнь Дункана; нет, что-нибудь о картинах, светящихся в студии; это пока подождет.)

После полудня

Я думаю, идя по Саутгемптон-Роу: «Вот, я дала тебе новую книгу».

Четверг, 1 мая

Я полностью испортила себе утро. И это совершенная правда. Из «Таймс» прислали книгу, словно Небеса сообщили им о моей свободе; и я, чувствуя, что шалею от свободы, бросилась к телефону и заявила Ван Дорену, что буду писать о Скотте. А теперь, прочитав Скотта, или редактора, которого Хью нанял, я не буду и не могу писать; стараясь прочитать, я впала в раздражение и написала Ричмонду отказ: зря потратила великолепное первое мая, когда небо золотисто-голубое; и добилась лишь смуты у себя в голове; не могу ни читать, ни писать, ни думать. Суть в том, конечно же, что мне хочется вернуться к «Волнам». Да, так оно и есть. Не похожая на все остальные мои книги, она не похожа на них и в этом смысле, ибо я начинаю переписывать или передумывать ее с жаром, как было, когда я писала первый вариант. Кажется, я начинаю понимать, что было у меня в голове; и жажду убрать множество неточностей, кое-что прояснить и отточить, чтобы хорошие фразы засверкали ярче. Одна волна за другой. Нет места. И так далее. А потом в воскресенье мы поедem в Девон и Корнуолл, то есть неделю я не смогу работать; зато после этого, не исключено, мои критические мозги для тренировки осилят месячную работу. Какую бы задачу перед ними поставить? Или придумать сюжет? — нет, только не это...

Среда, 20 августа

«Волны», насколько я понимаю (я на сотой странице), распадаются на серию драматических монологов. Смысл в том, чтобы они стали однородными, накатывали и откатывали в ритме волн. Можно ли читать их подряд? Понятия не имею. Полагаю, это величайшая свобода, какую я только могла предоставить себе; поэтому, полагаю, это самый настоящий провал. Все же я уважаю себя за написание этой книги — да! — хотя она представляет напоказ мои недостатки.

Понедельник, 8 сентября

Сигнализирую свое возвращение к жизни — то есть к писанию, — ибо начала новую книгу, как раз в день рождения Тоби,

должна сказать. Ему бы сегодня исполнилось пятьдесят лет. После приезда у меня, как всегда, — ох уж это «как всегда» — заболела голова; и я лежала совершенно без сил, словно тряпка, на кровати в гостиной до вчерашнего дня. Теперь я уже на ногах и за работой; с одной новой картинкой в голове; мой вызов смерти в саду.

Однако фраза, с которой книга должна начаться, такова: «Никто не работал так напряженно, как работаю я» — я вскричала это только что, торопливо правя четырнадцатистраничную статью о Хэзлитте. Было время, когда я справлялась с подобной работой за один день! А теперь, отчасти потому что пишу для Америки и договорилась об этой работе очень давно, провожу, признаюсь, много времени в раздражении. Хэзлитта я начала читать в январе, если не ошибаюсь. Но я совершенно не уверена, что угорек у меня на остроге — что я попала как раз в ту болезненную точку, которая есть объект критики. Отыскать ее в эссе дело трудное, вне всяких сомнений; таких точек слишком много; я пишу коротко; и по всем поводам. Тем не менее, сегодня я это отошлю, но у меня, как ни странно, появился аппетит на критику. У меня есть к ней способности, не будь в ней столько скучной работы, выкручивания рук, пытки.

Вторник, 2 декабря

Нет, сегодня утром у меня не получается написать один очень трудный кусок в «Волнах» (как их жизни повисают зажженными напротив Дворца), а все из-за Арнольда Беннетта и приема у Этель*. У меня нет слов. Я пробыла там, как мне показалось, два часа наедине с А. Б. в маленькой комнатке Этель. И эта встреча была, я уверена, спровоцирована Б., чтобы «быть в добрых отношениях с миссис Вулф» — когда, видит Бог, мне совершенно безразлично, есть у меня добрые отношения с Б. или нет.

Вскоре А.Б. уехал во Францию, выпил там стакан воды и умер от тифа. (30 марта. Сегодня его похороны.)

Я говорю за Б., потому что он не может говорить за Б. Он молчит; закрывает глаза; откидывается назад; а я жду. «Ну

* Этель Сэндс.

же», — произносит он наконец еле слышно; и совершенно спокойно. Однако привычка ведет за собой, что невыносимо, безвкусное рассуждение. Это забавно. Мне нравится старик. И я сделала все зависящее от меня как от писательницы, чтобы определить признаки гениальности в его дымчато-карих глазах: я вижу некоторую чувственность, силу, так мне кажется; но, ох, потом он прокудахтал: «Какой же я никчемный дурак — просто ребенок — по сравнению с Десмондом Маккарти — так глупо — не стоило противоречить профессорам!» Его наивность завораживает; но было бы куда лучше, если бы я ощущала в нем, как он говорит, «творящего художника». Он сказал, что Джордж Мур в «Жене актера» показал ему «Пять городов»: научил его, что там надо видеть; у него глубокое обожание Д. М.; однако он презирает его за хвастовство своими сексуальными победами. «Он рассказал мне, как молодая девушка пришла посмотреть на него и он попросил ее, когда она села на диван, раздеться. Он сказал, чтобы она все сняла и позволила глядеть на себя... Не то, чтобы я очень верил... Но он большой писатель — он живет ради слов. А теперь он заболел. И стал невыносимо скучным — все время рассказывает одни и те же истории. Скоро люди будут говорить обо мне: “Он мертв”». Я тотчас спросила: «О ваших книгах?» — «Нет, обо мне», — ответил он, вероятно, предполагая, в отличие от меня, долгую жизнь своих книг.

«Единственно возможная жизнь, — сказал он (обязательное писательство, слово за словом, тысяча слов в день). — Я не хочу ничего другого. Не могу думать ни о чем, кроме писательства. Некоторым надоедает». — «У вас есть любая одежда, какую вы хотите, насколько я понимаю, — заметила я. — И ванна. И кровати. И яхта». — «О да, у меня отличные костюмы».

Наконец я притащила к нему лорда Дэвида*. И мы насмеялись над стариком, думая, какие мы изысканные. Он сказал, что ворота Хэтфилда** закрыты — «закрыты от жизни». «Но открыты по четвергам», — заметил лорд Дэвид. «А я не хочу по четвергам», — сказал Б. «И вы бросаете кости, — вмешалась я, — думая, что в вас больше “жизни”, чем в нас». — «Иногда я

* Дэвид Сесил.

** Вероятно, речь о дворце, в котором прошло детство Елизаветы I.

шучу, — сказал Б. — Но не думаю, что во мне больше жизни, чем в вас. А теперь мне пора домой. Завтра утром я должен написать тысячу слов». Это лишь скелет вечера; а я в таком состоянии, что едва вожу пером по бумаге.

Впечатление: в общем-то, нехорошо просматривать статьи, рецензии в поисках своего имени. А я часто это делаю.

Четверг, 4 декабря

Одно слегка пренебрежительное слово в «Lit. Sup.» сегодня, и я решаю: первое, все переделать в «Волнах»; второе, повернуться спиной к публике — всего-то из-за одного слегка пренебрежительного слова.

Пятница, 12 декабря

Сегодня, полагаю, последний день свободы, который я позволяю себе, прежде чем взяться за финальную часть «Волн». У меня была занятая неделя — за которую я написала три небольших скетча; бездельничала, ходила по утрам за покупками, а сегодня утром разбирала у себя на столе всякий хлам — думаю, мне стало полегче, и теперь я смогу поработать еще три или четыре недели. Как мне кажется, у меня получится вновь и всерьез взяться за «Волны» и т.д. — интерлюдии — как встроить их в целое — а потом, ох, кое-что придется опять переписать; потом исправления; и только потом я пошлю рукопись Мэйбел; потом выправлю ее и перепечатаю, и уж потом дам Леонарду. Скорее всего, Леонард получит ее во второй половине марта. Потом перерыв, потом перепечатка, наверное, в июне.

Понедельник, 22 декабря

Накануне, слушая бетховенский квартет, мне пришлось в голову связать все соотносимые между собой куски в финальной речи Бернарда и закончить ее словами «Об одиночестве»: таким образом он свяжет все сцены и избавит меня от ложного шага. А я покажу, что доминирует тематическое движение, движение, а не волны; и индивидуальность; и вызов; но не уверена в движении с художественной точки зрения; потому что в конце для соблюдения пропорций нужны волны, чтобы получилось завершение.

Родмелл. Суббота, 27 декабря

Что толку говорить о финальной речи Бернарда? Мы приехали во вторник, на следующий день моя простуда стала инфлюэнцей, и я в постели с обычной температурой, не могу ни о чем думать и, что очевидно, даже выводить буквы. Надеюсь на два нормальных дня, иначе вещество, спрятанное за лбом, станем бледным и сухим — и мои драгоценные две недели радости и работы останутся в мечтах; а я вернусь к шуму и к Нелли, ничего не сделав. Утешаю себя тем, что меня хватит на пару мыслей. А тем временем идет дождь; у Анни болен ребенок; без конца лают соседские собаки; краски как будто потускнели, и пульс жизни стал реже. Я провожу время за бессмысленным просматриванием книги за книгой: «Путешествие» Дефо, автобиография Роуана, мемуары Бенсона, Джинс, все как всегда. Священник — Скиннер, — который застрелил себя, выплывает кровавым солнцем в тумане: на книгу, наверное, стоит еще раз внимательно посмотреть, когда вернется ясность.

Дневник приходского священника из Сомерсета

Он застрелил себя в буковой роще за домом; всю жизнь очищал землю от камней и отдавал ее Камелодунуму; скандалил; дрался; и все-таки любил своих сыновей; но выгнал их из дома — четкая ясная картина одного из типов человеческой жизни — болезненной, несчастной, вечно воюющей и неизбежно страдающей. Кстати, я читала письма К. В.* и думала о том, что было бы, если бы Элен Терри родилась королевой. Катастрофа для империи? Королева Виктория совершенно неэстетична; прусская самоуверенность и вера в свое предназначение; материалистка; грубила Гладстону; обращалась с ним, как хозяйка с нечестным лакеем. Была себе на уме. Но ее ум был банальным, лишь унаследованная самоуверенность и приобретенная власть придавали ему значительность.

Вторник, 30 декабря

Если книге что-то и нужно, так это целостность; но она, думаю, довольно хороша (я разговариваю сама с собой около камина о «Волнах»). А что, если еще крепче соединить сцены? — с помощью, в первую очередь, ритма. Чтобы избежать

* Королева Виктория.

сокращений; чтобы от начала до конца кровь бурлила, как при урагане, — мне не нужны пустоты, которые получаются в паузах; мне не нужны главы; это в самом деле мое достижение, если здесь есть достижения; неделимая целостность; перемены в сценах, в мыслях, в персонажах происходят без малейшего промедления. Если бы это переработать с жаром и на одном дыхании, то большего и желать было бы нельзя. А у меня температура (99). Но я все равно отправляюсь в Льюис, и Кейнсы придут к чаю; стоит мне оседлать мою лошадку, и весь мир обретает целостность; в моем сочинительстве — мое настоящее соотношение с миром.

Среда, 7 января

У меня в голове нет мыслей: за две недели никаких плещущихся волн — никаких полей и изгородей, — зато слишком много домов с зажженными каминами, освещенных страниц и ручек с чернильницами — будь проклята моя инфлюэнца. Здесь очень тихо — никаких звуков, кроме шипения газа. Ох, и холодно было в Родмелле. Я мерзла, как воробышек. Немногие книги мне так же хотелось писать, как теперь хочется писать «Волны». Почему же, когда дело подходит к концу, я убираю пару камешков, и все: никакой бойкости, никакой уверенности; смогла же я изобразить монолог Б. — разбить на кусочки, копнуть поглубже, добиться движения прозы — клянусь, такого движения прозы еще никогда не было: от кудахтанья, бурчания до рапсодии. Что-то новое закладывается в мой горшок каждое утро — что-то такое, чего не было прежде. Но даже ветер не дует, потому что я все время проявляю нерешительность. У меня есть несколько новых мыслей для статей: одна о Госсе — критик как любитель поговорить; критик в кресле; другая — о Письмах; третья — о Королеве.

Суть в том, что все фразы в «Волнах» соединены под таким давлением, что я не в состоянии братья за книгу и просматривать ее между чаем и обедом; я могу писать ее один час — от десяти до половины двенадцатого. Перепечатывание, пожалуй, самая трудная часть работы. Боже, помоги мне, если мои маленькие книжки из восьмидесяти тысяч слов будут в будущем отнимать у меня по два года жизни! Нет уж, я стану, как резчик, кромсать тут-там, чтобы получалось живое легкое приключение — наподобие, может быть, «Орландо».

Вторник, 20 января

Как раз сейчас, принимая ванну, придумала совершенно новую книгу* — продолжение «Своей комнаты» — о сексуальной жизни женщин: возможно, я назову ее «Женские профессии» — боже, как увлекательно!

(Это, полагаю, «Здесь и сейчас». Май, 1934)

Это выпрыгнуло из моего доклада, который я должна прочитать в среду гостям Пиппы. Теперь о «Волнах». Слава Богу — но я очень возбуждена.

Пятница, 23 января

Слишком возбуждена, увы, чтобы работать над «Волнами». Сочиняю «Открытую дверь»; можно назвать иначе. Дидактический демонстративный стиль конфликтует с драматическим: мне трудно вернуться к Бернарду.

Понедельник, 26 января

Слава Богу, в мой сорок девятый день рождения от всей души признаюсь, что сбросила с себя «Открытую дверь» и вернулась к «Волнам»: воспользовалась возможностью посмотреть на всю книгу целиком и вот надеюсь закончить ее меньше чем за три недели. То есть к шестнадцатому февраля; потом у меня Госс или другая статья и черновик «Открытой двери» — к первому апреля (Пасха начнется третьего апреля). Надеюсь, мы сможем отправиться в путешествие по Италии, чтобы вернуться, скажем, в мае и подготовить «Волны» для типографского набора. Если книгу сдать в июне, то в сентябре она выйдет в свет. Это, скажем так, примерные даты. Вчера в Родмелле мы видели со року и слышали первых весенних птиц: истинных эгоистов, подобных мужчинам. Солнце припекает; прошли через Кэберн; там дом возле Хорли, мы видели, как трое мужчин выскочили из синего автомобиля и бросились, не надевая шляп, через поле. Посреди поля стоял серебристо-голубой аэроплан, по-видимому, неповрежденный, а вокруг деревья и коровы. Утренняя газета сообщила о смерти трех мужчин — в упавшем аэроплане. А мы продолжаем жить, и это напомнило мне эпитафию из греческой антологии: когда я тону, другие корабли плывут дальше.

* «Три гиней».

Понедельник, 2 февраля

Я думаю, что почти закончила «Волны». Наверное, совсем закончу в субботу.

Авторская пометка: никогда еще у меня не было такой тесной связи с сочиняемой книгой. Доказательство — я почти не могу читать и писать. Могу лишь целый день лежать на диване. О господи, какое облегчение я испытаю, когда неделя закончится и у меня появится ощущение, что я больше с ней не связана, ибо покончила с долгой работой: покончила с этим видением. Полагаю, мне удалось совершить то, что я намеревалась совершить; конечно же, первоначальный план изменился; но у меня такое чувство, что я, несмотря ни на что, высказала — не мытьем, так катаньем — все то, что жаждала высказать. Боюсь, благодаря упорному мытью это будет провал с читательской точки зрения. Ну и пусть: попытка того стоила. Думаю, мне было за что бороться. Ох, какое же удовольствие снова быть свободной — удовольствие лениться и ни о чем не думать; попозже я опять смогу читать, и мой разум будет воспринимать прочитанное, в отличие от четырех прошедших месяцев. Восемнадцать месяцев труда, и мы не сможем опубликовать книгу, полагаю, до осени.

Среда, 4 февраля

День пропал для нас обоих. Л. каждый день в десять пятнадцать отправляется в суд, где заседает в числе других присяжных, но отдыхает до десяти пятнадцати следующего утра; а сегодняшний день, когда должен был быть нанесен решительный удар по «Волнам» — Б. уже два дня, если не ошибаюсь, застыл на словах «О смерти» — оказался совершенно испорченным из-за Элли, которую ждали ровно в девять тридцать, но она не пришла и в одиннадцать. Сейчас уже двенадцать тридцать, мы сидим и разговариваем о времени и о работающих женщинах после обычных ритуалов со стетоскопом и термометром. Если бы нам не было жалко семи гиней, мы могли бы сделать обследование, но нам жалко. Так что буду есть свои лекарства — обычная рутинка.

Все-таки на удивление непонятны последние пароксизмы «Волн»! А ведь я собиралась закончить книгу к Рождеству.

Сегодня будет Этель*. В понедельник я отправилась на репетицию. Огромный Портленд-плейс с холодным свадебным пирогом из штукатурки в неоклассическом стиле; красные вытертые ковры; ровные поверхности унылого зеленого цвета. Репетиция проходила в длинной комнате с эркером, чуть ли не упирающимся в дом на противоположной стороне, — железные лестницы, трубы, крыши — ничем не примечательный кирпичный пейзаж. В неоклассическом камине ревел огонь. Леди Л., похожая на сосиску, и миссис Хантер**, запеленутая в атлас сосиска, сидели рядышком на диване. Возле рояля в эркере стояла Этель в мятой фетровой шляпе и джерсовом костюме с короткой юбкой и махала карандашом. На кончике носа у нее висела капля. Мисс Саддабай пела партию Души, и я обратила внимание, что она одинаково изображает приступы экстаза и вдохновения в комнате и в зале; там была еще пара молодых, или моложавых, мужчин. Pince nez Этель постепенно сползло ей на кончик носа. Она время от времени пела и один раз, желая взять низкую ноту, издала кошачий вопль — однако она все делает с такой отдачей и прямоотой, что в этом не было ничего смешного. У нее совершенно пропадает застенчивость. Жизнь бьет в ней ключом; и она ни минуты не может побыть в покое. Шляпа у нее то на одном, то на другом боку. Сама она ритмично шагает по комнате в одну сторону, доказывая Элизабет, что это и есть греческая мелодия; потом шагает обратно. Начинается движение, говорит она, привлекая ее внимание к нечеловеческому веселью, имеющему отношение к бегству пленника, или неповиновению, или смерти. Думаю, эта музыка слишком буквалистская — слишком акцентированная — слишком дидактичная на мой вкус. Но на меня всегда производит впечатление сам факт музыки — то есть как раскручиваются связанные между собой аккорды, гармонии, мелодии, взятые из практичной энергичной ученой головы. А что если она великий композитор? Самая фантастическая идея — для нее банальность: это остов ее существования. Судя по ее поведению, она слышит музыку, как Бетховен. Когда она шагает, поворачивает-

* Этель Смит.

** Сестра Этель Смит.

ся и кругами идет к нам, замершим в креслах, она думает, будто самое важное то, что в данную минуту происходит в Лондоне. Возможно, оно так и есть. Да — я наблюдала за удивительно восприимчивым подвижным еврейским лицом старой леди Л., которая трепетала, настроенная на музыку, как усики бабочки. Старые еврейки на редкость впечатлительны, когда речь идет о музыке, — до чего же они податливы, до чего послушны. Миссис Хантер сидела, похожая на восковую фигуру, собранная, упакованная в атлас, прикованная к своему месту, вцепившаяся в золотую цепочку сумочки.

Суббота, 7 февраля

У меня всего несколько минут, чтобы отметить, слава Богу, окончание «Волн». Слова «О смерть» я написала всего четверть часа назад, проходя последние десять страниц с такими напористостью и неистовством, что едва поспевала за собственным голосом, или, скорее, за кем-то другим, произносившим фразы (как бывает, когда я схожу с ума); я почти испугалась, вспомнив голоса, которые летали у меня в голове. Что бы там ни было, это всё. Пятнадцать минут я просидела в состоянии блаженства и покоя и даже всплакнула, думая о Тоби: а что если написать на первой странице — посвящается Джулиану Тоби Стивену (1881—1906)? Думаю, нельзя. Физическое ощущение победы и свободы! Хорошо ли, плохо ли — дело сделано; и, как я чувствовала в первую минуту, не просто сделано, а завершено, закончено, сформулировано — знаю, что поспешно, фрагментарно; но я поймала рыбу в сети, закинув их в волны, что явились мне над пустошами, когда я смотрела из окна в Родмелле, заканчивая «На маяк».

Что особенно интересно в последнем этапе, так это свобода и смелость, которые обрело мое воображение и которыми воспользовалось, оставив в сторону заготовленные образы и символы. Я уверена, что это самое правильное — не продуманные куски, какие я брала прежде, связывая их между собой, а образы, но не выставленные полностью напоказ, а лишь представленные намеком. Так, надеюсь, мне удалось удержать шум моря и пение птиц, зарю и сад, присутствующие подсознательно и незаметно совершающие свой труд.

Суббота, 28 марта

Вчера ночью умер Арнольд Беннетт; и мне гораздо грустнее, чем я ожидала. Милый искренний человек; трудный и немного неловкий в жизни; значительный; скучный; добрый; грубый; знающий об этом; путающийся; ищущий; пресыщенный успехом; раненный в сердце; жадный; толстогубый; невыносимый как прозаик; довольно величественный; вечно пишущий; вечно обманывающийся; разочарованный в блеске и успехе; однако наивный; скучный старик; эгоист; избранник жизни, несмотря на все собственные заслуги; торгаш в литературе; но с рудиментарной чувствительностью, не видной за жиром и благоденствием, и с мечтой об отвратительной имперской мебели. У него была настоящая сила в понимании вещей, так же как гигантская абсорбирующая мощь. Об этом я урывками думаю сегодня утром, занимаясь своей журналистикой; я помню его решимость писать тысячу слов в день; и как он удалился в тот вечер с приема, чтобы сделать это наутро, и теперь мне грустно оттого, что ему уж не придется методически покрывать определенное количество страниц своим женственным красивым, но скучным почерком. Забавно, как человек жалеет об уходе того, кто казался — как я сказала — искренним: у кого был прямой контакт с жизнью — ибо он поносил меня; а я готова пожалеть, что он не будет поносить меня в будущем; и я не буду поносить его. Этот элемент жизни — моей — хотя и не был близким — отобран у меня. Об этом я жалею.

Суббота, 11 апреля

Ох, как же я устала от исправлений в собственных писаниях — восемь статей, — однако я научилась, как мне кажется, делать рывок вместо того, чтобы застревать на частностях. Я хочу сказать, что пишу теперь довольно свободно; мне противен сам процесс. Что-то надо впихнуть, что-то выбросить. А у меня все просят и просят статьи. Статьи я могла писать всегда.

У меня нет стиля — ладно, пусть так. Почти нечего сказать, или есть, но слишком много, однако нет настроения.

Среда, 13 мая

Если я время от времени не буду писать в дневнике хотя бы несколько фраз, то, как говорится, вовсе разучусь писать. Сей-

час перепечатаваю 332 страницы очень густой книги «Волны». Печатаю семь-восемь страниц каждый день и надеюсь закончить примерно к шестнадцатому июня. Это требует некоторой твердости; но я не вижу иного способа вносить правку и держать скорость, где-то уплотнять, где-то расширять и делать все остальное, что полагается делать, заканчивая работу. Это как мокрой кистью проходить по всей картине.

Суббота, 30 мая

Нет, я только что сказала, двенадцать сорок пять. Дольше писать не могу, в самом деле, не могу. Сейчас перепечатаваю главу о смерти; пришлось переделать ее дважды.

Предыдущая страница. Сделана половина за 26 дней. Если повезет, закончу к первому июля.

Буду просматривать ее еще раз и, вероятно, сегодня закончу. Но она превратила мои мозги в каменный мяч! Мне еще не приходилось заниматься таким концентрированным текстом — вот будет радость, когда я закончу. Но ничего интереснее у меня прежде не было.

Вторник, 23 июня

Вчера, двадцать второго июня, когда, насколько мне известно, дни начинают уменьшаться, я закончила перепечатывать «Волны». Не то чтобы книга была совсем закончена — увы, нет. Надо еще внести исправления в перепечатку. Это я начала делать пятого мая, и на сей раз никто не скажет, что я торопилась или была небрежной; хотя не сомневаюсь в большом количестве опечаток и пропусков.

Вторник, 7 июля

Ох, хочу отдохнуть от бесконечных исправлений (я работаю над интерлюдиями) в нескольких, написанных без особой цели, словах. Но лучше ничего не писать; лучше бродить по горам, словно гонимый ветром, беззаботный чертополох. Хорошо бы избавиться от тугого узла, в который завязаны мои мозги — я имею в виду «Волны». Таковы мои чувства в половине первого пополудни, во вторник, седьмого июля — день прекрасный, кажется — и всё, рефреном звучит у меня в голове, у нас замечательно.

Вторник, 14 июля

Сейчас двенадцать часов четырнадцатого дня июля месяца — и Боб явился с просьбой подписать прошение о пенсии для Палмера. Боб говорит... большей частью о своем новом доме, о раковинах, о том, что до сих пор идет вечером в спальню со свечкой; Бесси переезжает сегодня; а он отправляется на месяц в Италию; не послать ли мне экземпляр моей новой книги графу Мойре, все итальянцы — графы; один раз он показал четырех графов в Кембридже; Палмер... и так далее; переминается с ноги на ногу, снимает шляпу и опять надевает ее, открывает дверь и возвращается.

Я собиралась сказать, что покончила с исправлениями в Хэмптон-Корт. (Это последние исправления, дай Бог!)

Итак, «Волны» я писала, насколько помню, в следующие сроки:

Всерьез я начала работать около десятого сентября 1929 года.

Первый вариант был закончен десятого апреля 1930 года.

Второй вариант был начат первого мая 1930 года.

Второй вариант был закончен седьмого февраля 1931 года.

Я начала править второй вариант первого мая 1931 года и закончила правку двадцать второго июня 1931 года.

Я начала править машинопись двадцать пятого июня 1931 года.

Закончу (надеюсь) восемнадцатого июля 1931 года.

Потом останутся лишь гранки.

Пятница, 17 июля

Итак, сегодня утром мне кажется, я могу сказать, что закончила книгу. Скажем так, я еще раз, в восемнадцатый раз, переписала начало. Л. начнет читать завтра; а я открою дневник, чтобы записать его вердикт.

Он потерян.

Мое собственное мнение — ох — это трудная книга. Не помню, чтобы когда-нибудь мне приходилось ощущать такое же напряжение. Признаюсь, я нервничаю из-за Л. Уж он-то будет честным, даже честнее, чем обычно. И вполне возможно, у меня ничего не получилось. А я больше ничего не могу сделать. И мне кажется, у меня получилось, разве что книга бессвязная и очень густая; совсем нет пауз. В любом случае, она отработана.

на и ужата до предела. В любом случае, я выстрелила в свое видение — если даже не попала, то стреляла в верном направлении. Но я нервничаю. Может быть, она слишком короткая и чересчур перегруженная? Бог ее знает. Когда я это говорю, повторяю, на сердце у меня тяжело, я буду нервничать, пока Л. не придет с рукописью в мой садовый домик, предположим, в субботу вечером или в воскресенье утром, не усядется в кресло и, как всегда, не произнесет первым делом: «Ну!»

Воскресенье, 19 июля

«Это шедевр, — сказал Л., войдя ко мне сегодня утром. — Лучшая из твоих книг». Вот что я записала, и еще он думает, будто первые сто страниц невероятно трудны, и непонятно, как их одолеет обыкновенный читатель. Но, Господи, какое блаженство! От радости я отправилась гулять под дождем вокруг Крысиной фермы и почти покорила мысли о строительстве Козлиной фермы с домом на склоне горы возле Нортиза.

Понедельник, 10 августа

Только что — десять сорок пять — я прочитала первую главу «Волн» и не внесла никаких поправок, если не считать двух слов и трех запятых. Не знаю уж, как это получилось, но все точно и на месте. Мне понравилось. Хоть один раз моя правка ограничится несколькими карандашными пометками. Мой выводок растет; и я думаю: «Поставлю-ка изгородь... С Рэймондом мы уже говорили. Меня не остановит море, несмотря на головную боль, несмотря на горечь. У меня еще будет...» Пора браться за «Флаша».

Суббота, 15 августа

Я в некотором волнении — читаю гранки. Могу прочитать подряд всего несколько страниц. Так же было, когда я писала, и один Бог знает, какая это испуленная книга.

Воскресенье, 16 августа

Я должна принести искренние извинения своему дневнику за то, что использовала его для всякой чепухи; итак, я читаю гранки — сегодня утром последняя глава — и думаю, что должна остановиться через час и дать своим мозгам отдых после столь неслыханного напряжения. Я не могу писать «Флаша»,

потому что надо изменить ритм. Думаю, в «Волнах», несмотря ни на что, есть напряжение и форма, если книга не отпускает меня. Что, интересно, скажут критики? А друзья? Наверняка у них не найдется ничего новенького.

Понедельник, 17 августа

Отлично, это случилось сразу после двенадцати тридцати. Я внесла последнюю правку в «Волны»; прочитала гранки; и завтра их увезут — чтобы мне больше никогда-никогда их не видеть.

Вторник, 22 сентября

Мисс Холтби говорит: «Это поэма более цельная, конечно же, чем ваши другие книги. В ней почти нет ничего искусственного. Она так глубоко проникает в человеческое сердце, возможно, даже “На маяк”...» И я записываю ее фразу, потому что она тоже определяет кривую моей температуры, которая, о господи, была смертельно низкой в это же время на прошлой неделе, потом стремительно поползла вверх, но больше не поднимается. Думаю, я спасена; все только и делают, что повторяют уже сказанное. Я о многом забыла. Если мне чего-то и хочется, так это услышать, что книга солидная и в ней есть смысл. Какой смысл — я сама не узнаю, пока не напишу другую книгу. Я как олениха, которая далеко впереди псов — критиков.

Тависток-сквер, 52. Понедельник, 5 октября

Не могу не написать, что вся трепещу от удовольствия, — не могу продолжать «Письмо»* — позвонил Гарольд Николсон и сказал, что «Волны» — шедевр. Слава богу — не все напрасно. Я хочу сказать, что мое видение подействовало и на других. Теперь сигарета, и я возвращаюсь в спокойное состояние.

Продолжая свой эгоистический дневник, скажу, что я не очень-то радуюсь, нет; может быть, чуточку больше обычного; пусть себе говорят, ведь если в «В.» что-то и есть, то приключение, совершаемое мной в одиночку; милый старичок «Lit. Sup.», который подмигивает, сияет и берет меня под свою опеку, длинная и (для «Таймс») добрая и искренняя рецензия — не очень-то меня взволновали. И Гарольд в «Экшн» тоже. Да; до некоторой

* Вероятно, «Письмо юному поэту» (Прим. переводчика).

степени; мне было бы плохо, если бы они ругали меня, но, господи, как я теперь далека от всего этого; мы измучены людьми, измучены посылками. Не знаю, хорошо или плохо чувствовать свою удаленность, — но ведь «Волны» совсем не то, что они говорят. Странно, что они («Таймс») хвалят моих персонажей, когда у меня нет ни одного. Я устала; хочу на мои пустоши; на мои холмы; хочу спокойного утра в просторной спальне. Сегодня радиопередача, завтра — Родмелл. На следующей неделе придется выдержать шум.

Пятница, 9 октября

В самом деле, непонятную книгу «принимают» лучше всех остальных. Приличная заметка в «Таймс» — это дано мне впервые. И книга продается — вот уж неожиданность; странно, что люди читают такое!

Суббота, 17 октября

Отклики на «Волны». Продажи за последние три дня упали до пятидесяти экземпляров или около того: это после грандиозного скачка, когда мы продали пятьсот книг за один день, но я знала, что чудес не бывает. (Дело не в том, будто я думала, что мы продадим больше трех тысяч экземпляров.) Случилось другое. Читатели библиотек не могут одолеть ее и посылают свои экземпляры обратно. Итак, я пророчествую, книга будет постепенно продаваться — примерно до шести тысяч экземпляров, после чего ее будут покупать совсем понемногу. Ибо она была принята, я цитирую без особого тщеславия, с аплодисментами. В провинции ее читают с энтузиазмом. Я в общем-то, как сказал бы М., тронута. Неизвестные провинциальные репортеры пишут почти одинаковые отзывы, миссис Вулф создала свою лучшую книгу; она не может быть популярной; но мы уважаем ее за этот труд; и находим «Волны» определенно замечательной книгой. Мне грозит опасность стать лидирующей новеллисткой, и не только у интеллектуалов.

Понедельник, 16 ноября

Сейчас доставлю себе удовольствие — доставлю ли? — процитировав одну-две фразы из написанного по доброй воле письма Моргана насчет «Волн»:

«Я думаю, что должен написать Вам теперь, когда перечитал «Волны». Я отнесся к книге с вниманием, я говорил о ней в Кембридже. Очень трудно выразить свое отношение к работе, которую считаешь очень важной, но я к тому же испытал волнение, которое появляется, только если можешь причислить книгу к классической литературе».

Смею заметить, это письмо доставило мне куда больше удовольствия, чем все остальные. Да, так оно и есть, ведь оно от Моргана. По крайней мере, у меня есть основания считать, что я права и могу идти дальше своей одинокой тропинкой. Я хочу сказать, сегодня в городе я думала о другой книге — о владельцах магазинов, о публике, об их обыденной жизни: и я скрепила этот скетч суждением Моргана. Дэди тоже согласен. О да, между пятьюдесятью и шестьюдесятью, полагаю, я буду писать уникальные книги, если, конечно, доживу. Это значит, что мне хочется наконец воплотить на бумаге формы, заключенные у меня в мозгу. Долгий же путь пришлось одолеть, чтобы прийти к началу — если «Волны» моя первая книга, написанная моим, и только моим, стилем! Отмечу как курьез моей литературной биографии: я старательно избегаю встреч с Роджером и Литтоном, которые, подозреваю, не в восторге от «Волн».

Работаю очень напряженно — по-своему — готовлю две большие статьи об елизаветинцах для нового «Обыкновенного читателя»: потом пройдуся по всему длинному списку статей. Всеми фибрами души я чувствую, что могу выработать новый критический метод; что-то менее жесткое и заформализованное, чем статьи в «Таймс». Но в этом томе мне придется держаться старого метода. А как, интересно, это делать? Должны быть более простые, более утонченные, более точные способы писать о книгах — как о людях — надо лишь найти их. (Продано больше 7000 экземпляров «Волн».)

Среда, 13 января

Увы, но, как всегда, приходится просить прощения у себя самой и отмечать, что уже не первый день года. Сегодня тринадцатое число, и я в том состоянии апатии и упадка, когда не могу выдать из себя ни слова. Господи, как же тяжело мне дались «Волны», если я до сих пор не могу освободиться от них!

Можно ли рассчитывать еще лет на двадцать? Двадцать пятого, в понедельник, мне исполнится пятьдесят: иногда я чувствую, будто прожила двести пятьдесят лет, а иногда — будто нет никого моложе меня в omnibusе. (Несса говорит, что до сих пор ощущает это.) Я хочу написать еще четыре романа: считая «Волны» и «Стук в дверь»; а еще пройтись по английской литературе насквозь, как струна, когда режет сыр, или, скажем, как трудолюбивое насекомое, прокладывающее себе дорогу от книги к книге, от Чосера до Лоренса. Это программа, учитывая мою медлительность, учитывая, что я становлюсь еще медлительней, еще неповоротливей, еще менее способной на порыв, лет на двадцать, если они у меня есть.

Воскресенье, 31 января

Только что закончила, возможно, последнюю версию, как я это называю, «Письма юному поэту» и имею право на короткую передышку. По своему ироничному тону понимаю, что версия не обязательно последняя. Писать становится все труднее и труднее. То, что я набрасывала вначале, теперь где-то ужато, где-то восстановлено. Ради целей, в которые не стоит сейчас вдаваться, я хочу какое-то время использовать эти страницы под диалог.

Понедельник, 8 февраля

Зачем мне надо было говорить, что я сделаю второй том «Обыкновенного читателя»? Это ведь займет не одну неделю и не один месяц. Однако год прошел — если не считать набегов на Грецию и Россию — в чтении английской литературы, что, вне всяких сомнений, пошло на пользу моим литературным мозгам. А теперь пусть отдыхают. Когда-нибудь, совершенно неожиданно, литература вырвется наружу. Это написано после долгой утренней работы над Донном, которую неплохо было бы продолжить, а стоит ли? Я проснулась ночью с ощущением, будто нахожусь в пустом зале: Литтон умер, вокруг фабрики. Смысл жизни — когда я не работаю — сразу мельчает и теряет. Литтон умер, и нет ничего конкретного, чем можно было бы отметить его жизнь. А они пишут о нем дурацкие статьи.

Четверг, 11 февраля

Мои мысли крутятся вокруг «Стука в дверь»* (сохранится ли это название?), навеянного в основном чтением «Уэллс о женщине» — какой она должна быть подчиненной и декоративной в будущем мире, потому что за десять лет ничего не смогла доказать.

Вторник, 16 февраля

Только что «закончила» — кавычки ставлю нарочно — моего Донна, большую, но, думаю, исполненную благих намерений и скучную работу. Теперь дрожу от желания написать — как бы это назвать? — «Таковы мужчины»? — нет, это уж слишком пофеминистски. Продолжение, для которого я собрала достаточно пыли, чтобы засыпать Святого Павла**. Должны быть четыре картины. Но мне надо продолжать «Обыкновенного читателя» — хотя бы ради того, чтобы оправдать доверие.

Вторник, 17 мая

Что значит правильное отношение к критике? Что я должна чувствовать, если мисс Б. печатает статью в «Скрутини» о том, какая я плохая писательница. Она молодая, из Кембриджа,

* В дальнейшем «Три гинеи» (Прим. переводчика).

** Собор.

пылкая. Итак, я думаю, надо отметить суть написанного — этого я не думаю, — потом воспользоваться энергией, которую дает противостояние. Наверное, моя репутация все-таки запятнана, и теперь надо мной будут смеяться, будут показывать на меня пальцем. А мне как вести себя? Очевидно, что Арнольд Беннетт и Уэллс неправильно воспринимали критику молодых. Правильно — не раздражаться; не страдать, не изображать христианскую мученицу и не сдаваться. Наверняка, с моей странной смесью невероятной вспыльчивости и скромности (если судить прямолинейно) я скоро оправляюсь от ругани и от похвалы. Однако мне необходимо знать отношение к себе. Тем не менее, самое главное — не очень задумываться о себе. Надо искренне разобраться в обвинении; однако не суетиться и не волноваться. И ни в коем случае не впадать в другую крайность — не следует слишком много размышлять. Итак, заноза вынута, пожалуй, слишком легко.

Среда, 25 мая

Вот, я «закончила» «Дэвида Копперфилда» и теперь спрашиваю себя, не податься ли мне куда-нибудь в более приятное место? Не пора ли расправить крылышки, стать благоуханным и чувствительным существом? Один Бог знает, как я страдаю! Это ужасное свойство — все переживать с максимальной силой. Теперь, когда мы вернулись, я как будто скручена в твердый мяч; не могу сделать ни шага; не могу заставить вещи плясать; чувствую себя ужасно одинокой; смотрю молодыми глазами; ощущаю себя старухой; нет, не совсем так: не знаю, чем меня одарит этот год. Подумать только, люди продолжают жить; даже не представляют, что происходит внутри них. Одна лишь непроницаемая поверхность; а я орган, который принимает удары, один за другим; кошмар непроницаемых нарумяненных лиц во вчерашнем цветочном шоу: пустота, бессцельность существования: ненависть к собственной безмозглости и нерешительности; старое привычное чувство, все вперед и вперед, а зачем? Литтон умер, Каррингтон тоже. Очень хочу поговорить с ним; но это уже невозможно; никогда... женщины; моя книга о профессиях; напишу ли я еще роман; презираю себя за недостаточную интеллектуальность; читаю Уэллса и не понимаю; общество; покупаю платье; Родмелл стал мне неприятен; Англия

неприятна; ужас по ночам из-за того, что во Вселенной все неправильно; покупаю платье; до чего же я ненавижу Бонд-стрит и выбрасывание денег на платье; хуже всего — угнетающая меня пустота. Глаза болят, и дрожат руки.

Одна фраза Леонарда приходит мне в голову в этот период беспредельного уныния и скуки. «Все неправильно». Он сказал это в вечер самоубийства К.* Мы шли по пустынной голубой улице, которая была вся в лесах. Я чуяла в воздухе насилие и безумие; мы маленькие; снаружи ураган; что-то ужасающее; бессмысленность — сделаю ли я из этого книгу? Она могла бы вернуть в мой мир порядок и движение.

Четверг, 26 мая

А сегодня, неожиданно, тяжести в голове как не бывало и я могу думать, размышлять, сосредоточивать и удерживать внимание на чем-то одном. Может быть, это начало следующего рывка. Может быть, я обязана этим нашему с Л. разговору вчера вечером. Я попыталась проанализировать свою депрессию — мой мозг измучен противостоянием критических и творческих мыслей; я утомлена борьбой, потрясениями и неопределенностью. Сегодня утром у меня в голове прохладно и приятно, нет ни беспокойства, ни бурь.

Вторник, 28 июня

Только что «закончила» де Куинси. Итак, я стараюсь держать шаг, чтобы дописать второго «Обыкновенного читателя» в последний день июня, который, как я с раздражением вижу, приходится на четверг. Прошлым летом я работала над «Волнами». Это не так жестоко, вовсе нет (...by a long chalk. What is the origin of that? cricket pitch? Billiards?)*. Кстати, сверкает солнце; все замерло; жара. Королевский, имперский — вот слова, которые я прокручиваю на Площади. Очень жарко было вчера — очень жарко, когда князь Мирский прибыл со своей разговорчивой русской дамой; я хочу сказать, она весьма темпераментна; у нее свободные жесты славян; однако Мирский молчал; открывал

* Дора Каррингтон.

** ...намного (длинный мел). А откуда это пошло? От крикета? От Биллиарда? (Прим. переводчика).

рот и тотчас прикусывал язык; у него желтые неровные зубы; лоб весь в морщинах; отчаяние, страдания отразились на лице. Жил в Англии, в пансионах, двенадцать лет; теперь возвращается в Россию «навсегда». Видя, как загораются и тускнеют у него глаза, я думала — пуля вскоре пронзит твою голову. Один из результатов войны: человек загнан в угол, откуда нет выхода. Нам от этого не легче.

Среда, 29 июня

Как только беру ручку в рот, у меня все губы в чернилах. И нет чернил, чтобы заполнить чернильницу; уже десять минут первого, и я закончила Гарди; обещаю себе, что «Обыкновенный читатель» будет дописан к следующей среде. А сегодня воскресенье. Вчера вечером, в десять, пролетел цеппелин, оставляя за собой белый след. Это утешило меня в том, что я не была на балете. Итак, я разобралась на столе, который унаследует Джон, когда меня не станет. А теперь пора в атаку на Кристину Россетти. Господи, как же я устала от своих писаний.

Сегодня среда, и, признаюсь, «Обыкновенный читатель» еще не совсем написан. Но все-таки — надо лишь переписать последнюю статью, которую я считала в целом очень хорошей. Мне потребуется немного лет, чтобы набрать еще пачку статей.

Понедельник, 11 июля

Беру новую ручку и на чистой странице отмечаю тот факт, который стал фактом, что я надела зеленую резинку на вторую серию «Обыкновенного читателя» и сейчас, то есть в двенадцать пятьдесят, он ждет, чтобы его унесли наверх. Я не ощущаю прилива счастья; проделана тяжелая нудная работа. И все же должна сказать, это довольно забавная книжка — сомневаюсь, чтобы мне удалось написать еще одну такую же, в точности такую же. Надо найти более быстрый способ сочинять подобные книги. Но, упаси Боже, не сейчас. Сейчас у меня отдых. Это значит, я не знаю, что буду писать завтра. Я буду сидеть и думать.

Среда, 13 июля

Я потеряла сон из-за будущего романа. Это тоже способ сочинять. Я размышляю, как всегда, чем украсить свою жизнь, и начала сегодня с прогулки в одиночестве по Риджентс-парк. Я хо-

чу сказать, зачем делать что-то, чего делать не хочется, — например, покупать шляпу или читать книгу? Джозеф Райт и Лиззи Райт — вот старики, которых я уважаю. Как бы там ни было, но я очень надеюсь на то, что второй том придет сегодня утром. Райт — создатель словарей диалектов; жил в рабочем доме, потому что его мать была поденщицей. И он женился на мисс Лиа, дочери священника. Я совсем недавно с почтением читала их любовные письма. Он говорит: «Всегда доставляй себе радость — и будешь счастлива». А она добавляет массу деталей в целостную картину — так сохраняется пропорциональность — она обдумывает свою жизнь с Джо. Странно, до чего же редко встречаются люди, которые говорят те самые вещи, которые хотелось бы сказать самой. Их отношение к жизни очень напоминает наше. Джо плотный сильный мужчина — «Я неповторим в некоторых отношениях», — говорит он. Они забрали мать-поденщицу в Оксфорд. Она верила — если объединить Все Души, то получится доброе Сообщество. У нее была тяжелая рука, и она была мальчиков. Записи об учебе. О чем? Иногда мне самой хотелось учиться. О звуках и диалектах. Какой в этом толк? Если есть желание, почему бы не сотворить что-нибудь прекрасное? Да, и к тому же, есть еще триумф науки, которая оставляет нечто солидное будущим поколениям. Сейчас все знают о диалектах, и это благодаря его словарю. Он — грубый сильный вариант Сидни Уэбба и Уолтера Лифа — крепкий, волосатый, но поумнее и понапористее, чем они. Мог работать всю ночь, умыться и опять за работу на целый день. Мисс Вейсс, хозяйка Тови, познакомила их — заставила Лиззи забыть о цветах для церкви и уехать в Оксфорд. Она тоже была женщиной с характером. Не могла принять работу Джо, потому что чувствовала себя словно медведицей на цепи. Но вышла за него замуж. В 1896 году Вирджиния Уотер оставила их в лесу; они сидели и целый час очень мучились, а потом она приняла его предложение — они сели на телегу пекаря, и их привезли обратно к мисс Вейсс. Захватывающая история. Джо все знал о слугах. В четырнадцать лет он самостоятельно научился читать; потом учил мальчишек на мельнице за два пенса в неделю; он был, очевидно, грубым и чувствительным человеком. Доказательством того, что мне хотелось бы повидаться с Джо и Лиззи, стало появившееся у меня желание написать ей письмо. Красивое лицо с большими сияющими глазами. Интересно, что будет во втором томе?

Родмелл. Пятница, 5 августа

Вчера во время завтрака Л. пришел в мою комнату и сказал: «Умер Голди»*. Я никогда не была знакома с ним близко, но нас объединяло то, что объединяет всех верных кембриджцев: и мне, конечно же, было приятно, когда он написал о «Волнах»: он стал мне ближе. У меня появились очень странные ощущения насчет нашего существования внутри некоего неограниченного опыта, насчет великолепия этого эксперимента — жизни; насчет смерти: меня окружает необъятное пространство. Нет — я не могу охватить его разумом — пусть оно само, как всегда, вливается в «роман». (Таким образом у меня сложилась концепция, которая даст жизнь книге.) Вечером Л. и я опять разговаривали о смерти; во второй раз за этот год: о том, что нас, словно червей, может переехать автомобиль; о том, что червь знает об автомобиле — о его конструкции? Должна быть причина: если да, то мы как разумные существа не знаем ни одной. У Голди была некая мистическая вера.

Мы ездили в Льюис на скачки и видели толстую даму в черном, не помещавшуюся на стуле, на котором ей было небезопасно сидеть; видели подонков из спортивного общества, поставивших в ряд свои машины, на задних сиденьях которых были пристроены корзины для пикников; слышали выстрелы сзади; одно мгновение видели лошадей, колотивших по земле копытами и безжалостно избиваемых краснолицыми жокеями. А какой стоял шум — вот где ощущение напряженных и растянутых до предела мускулов; за горами ветреный солнечный день был далеким и необузданным; и я могла представить, как все вновь возвращается в начало начал.

Среда, 17 августа

Мне кажется, что я доисправляла «Обыкновенного читателя» до того, что больше не могу его видеть. У меня есть несколько свободных минут, прежде чем Л. возьмет гранки. Писать ли о том, как я опять теряла сознание? Грохочущие подковы у меня в голове были невыносимы в прошлый четверг, когда мы с Л. сидели на террасе. Особенно приятно чувствовать вечернюю прохладу после жаркого дня! — сказала я. Мы смотрели, как го-

* Г.Л. Диккинсон.

ры становятся невидимыми в прекрасной тьме, отполыхав за день изумрудным огнем. Теперь на них словно легла легкая пелена. Белая сова прилетела с пустоши поохотиться на мышей. Потом сердце у меня подпрыгнуло; и остановилось; опять подпрыгнуло; и я ощутила необычную горечь во рту; в голове начало стучать, и стучало, стучало, все хуже, все быстрее. Сейчас я потеряю сознание, сказала я, соскользнула с кресла и упала на траву. О нет, я не потеряла сознание. Я была жива, но в голове у меня творилось неладное: стучало невыносимо. Я думала, если так будет продолжаться, то в мозгу что-нибудь взорвется. Потихоньку мне стало легче. Я поднялась и потащилась, еле держась на ногах и не в силах отогнать страх, вправду едва не теряя сознание и видя, как сад увеличивается на глазах и меняет очертания, обратно, обратно, обратно — как же долго это продолжалось — пока я тащилась? — в дом: добралась до своей комнаты и упала на кровать. Потом появилась боль, словно я рожала, но и она потихоньку отошла; я лежала, следя за блеклым лучом света, как самая внимательная мать, за трепещущими частями собственного тела. Очень четкое и неприятное ощущение.

Суббота, 20 августа

Вчера в Лондоне был странный день. Я сказала себе, стоя у окна Л.: взглядишь в это мгновение, потому что так жарко не было двадцать один год. Ветер был горячим, словно нагревался, пролетая через кухню в направлении «Пресс» из студии. На площади девушки и юноши в белом лежали на траве. Так жарко, что невозможно сидеть в столовой. Л. накормил меня и едва ли не отнес наверх, не позволив подняться самой. Вернувшись, мы открыли окошки в машине — так и сидели на сильном горячем ветру, но пока ехали мимо полей и рошиц, становилось прохладнее и зеленее. Самое прохладное место впереди, если открыты окна и машина идет со скоростью сорок или пятьдесят миль в час. Сегодня в двенадцать тридцать поднялся ветер, облака закрыли небо, но сейчас, в три сорок пять, почти нормальный летний день. Жара продолжалась десять дней. После обморока у меня часто стучит в голове; или мне так кажется. Я почти не думаю о смерти, зато думаю — что ж, теперь ешь, пей, смейся и корми рыбок. Странно — люди глупо обращаются со смертью — желание, с ка-

ким хочется преуменьшить ее значение и быть найденным ею, как говорил Монтень, в окружении девушек и друзей. А Л. отмечает расстояние и собирается меня фотографировать. Еще три книги должны появиться о миссис Вулф; и это напомнило мне, что иногда надо писать о своей работе.

Лето прекрасное, несмотря на все мои приступы и недомогания, несмотря на утренний тремор. На редкость тихо, легко, ярко. Я верю, что хочу более человеческого существования для моей следующей книги — беззаботно порхать среди друзей — чувствовать ширь и прелесть человеческой жизни; не напрягаться; сделаться мягкой и наслаждаться сутью обыкновенных вещей, бесед, персонажей, проходящими через меня ощущениями, спокойно и безвольно, пока я не скажу: стоп — и не возьмусь за ручку. Да, ноги у меня начинают ходить нормально; нервы больше не встрепаны. Вчера мы отнесли сливы старенькой миссис Грей. Она вся сморщенная и сидит на стуле в углу. Дверь открыта. Она дергается и дрожит. У нее безразличный нездешний старческий взгляд. Л. понравилось ее отчаяние: «Я ползу на кровать в надежде на день и сползаю с кровати в надежде на ночь. Я невежественная старая женщина — не умею ни читать, ни писать. Но каждый вечер я молюсь Богу, чтобы он прибрал меня — или дал мне покой. Никто не знает, как я страдаю. Посмотрите на мою руку, — сказала она и взяла булавку. Я подчинилась. — Твердая, как железо; это вода; и ноги у меня такие же. — Она спустила чулок. — Это водянка. Мне девяносто два года, все мои братья и сестры умерли; моя дочь умерла, мой муж умер...» Она говорила и говорила о своих несчастьях; вновь и вновь перечисляла свои болезни; и больше ничего не хотела понимать; могла сосредоточиться только на них; она целовала мне руку; благодарила нас за подаренный фунт. Вот во что мы превращаем свою жизнь — никакого чтения, никакого сочинительства — она живет благодаря...* докторам, хотя хочет умереть. Человек чрезвычайно изобретателен в пытках.

Лондон. Воскресенье, 2 октября

Пожалуй, я позволю себе эту запись. Странно, но возвращение сюда мешает моему писательству. Еще более странно, что

* Слово написано неразборчиво.

теперь, когда мне пятьдесят лет, я сохраняю самообладание и недрогнувшей рукой попадаю в цель. Поэтому все волнения и трепетания еженедельников меня не касаются. В моей душе произошли изменения. Я не верю в возраст. Я верю в вечное движение следом за солнцем. Отсюда мой оптимизм. И, чтобы не остановиться в своем движении, мне надо, твердо и сознательно, отбрасывать все случайное: людей; рецензии; славу; всю сверкающую шелуху; отойти от всего и сосредоточиться. Итак, я не буду бегать за тряпками, не буду ни с кем встречаться. Завтра мы отправляемся в Лестер, на съезд лейбористской партии. А потом опять издательская лихорадка. Мой «Обыкновенный читатель» меня не волнует, книга Холтби тоже. Мне интересно наблюдать за каждым мгновением, не принимая ни в чем участия, — отличное состояние ума, когда человек осознает свою силу. А потом я вернусь в свои горы; в деревню; Л. и я счастливы в Родмелле; там свободная жизнь — тридцать-сорок миль: приезжаем, когда и как хотим; спим в пустом доме; с удовольствием воспринимаем всякие помехи; ныряем в благословенную красоту — обязательно гуляем; чайки на алой пашне; или отправляемся в Тэрринг-Невилл — эти полеты я теперь очень люблю — в огромном безразличном небе. Никто тебя не дергает, не толкает, не мучает. Но это прошлое или будущее. Теперь я читаю Д.Г.Лоуренса с обычным разочарованием; а ведь у нас с ним очень много общего — одинаковое стремление быть самими собой; так что я не бегу, когда читаю его: я останавливаюсь, и мне хочется освободиться от другого мира. Это делает Пруст. Для меня Лоуренс безвоздушен и ограничен; а я, повторяю, этого не хочу. И повторение одной мысли. Этого я тоже не хочу. Я ни в коей мере не желаю «философствования»: я не верю в готовность людей к чтению загадок. Что мне по-настоящему нравится (в «Письмах») — неожиданные зрительные образы: огромный призрак прыгает на волнах (водяная пыль в Корнуолле), но меня не удовлетворяют объяснения того, что он видит. И потом, это раздирает душу: попытка вновь начать дышать; и «У меня осталось шесть фунтов десять пенсов», а правительство выкидывает его, как жабу, и запрещает его книгу*; грубость

* Речь идет об одном из в свое время «скандальных» романов, из-за отношения к которым Лоуренс после Первой мировой войны (1919) покинул Англию.

цивилизованного общества по отношению к задыхающемуся агонизирующему человеку; как это было ничемно. От всего этого ощущение одышки в его письмах. В сущности, ничего важного. А он задыхается и дергается. И потом, мне не нравится его брэнчание двумя пальцами — и высокомерие. В конце концов, в английском языке миллион слов: зачем же ограничиваться шестью? да еще хвалить себя за это? Меня раздражают проповеди. Он напоминает человека, который выносит приговор, зная лишь половину фактов: жметя к стенке, сражается с подушками. Так и хочется сказать: выйди и посмотри, что происходит снаружи. Я имею в виду, что все это пусто: легко; давать советы системе. Мораль такова: хочешь помочь, никогда не систематизируй — по крайней мере, пока тебе не стукнет семьдесят: ты был уступчивым и милым, и созидающим, и до конца испытал свои нервы и возможности. А он умер в сорок пять. Почему Олдос говорит, что он был «художником»? В искусстве не должно быть проповедничества; вещи как они есть; фразы красивы сами по себе; множество морей; нарциссы, которые появляются прежде ласточек; Лоуренс же говорит только то, что подтверждает его мысль. Я, конечно же, не читала его. Но, судя по «Письмам», он слышит только то, что хочет слышать; обязательно дает советы; включает вас в систему. Отсюда его привлекательность для тех, кто хочет войти в систему; чего я не хотела; я даже считаю это богохульством — включение Карсвеллов в систему Лоуренса. Было бы намного благороднее предоставить их самим себе: самое благородное — это карсвеллизм Карсвелла. А он по-мальчишески шипал и толкал всех, кто приближался к нему: Литтон, Берти, Сквайр — все они, мол, ограниченные и нечистые. Словно его управитель снисходил и измерял их. Зачем вся эта критика других людей? Почему не система, построенная на добре? Вот было бы открытие — система, которая не ограничивает.

Среда, 2 ноября

Молодой пустомеля с широко открытыми глазами, тощий, расхлябанный, который думает, будто он величайший поэт всех времен. Полагаю, так оно и есть — но в данный момент меня это не особенно занимает. А что занимает? Мое собственное писательство, конечно же. Я только что окончательно отделала Л. С.

для «Таймс» — полагаю, неплохо, если учесть все течения вокруг него в «Таймс», в отличие от остальных газет. И я полностью переделала мое «Эссе». Теперь это будет роман-эссе под названием «Паргитеры»* — и в нем будет всё: секс, образование, жизнь и так далее; и время — с дальними и ловкими прыжками, словно серна через пропасти от 1880 года до нашего времени и нашего места. Таковы мои намерения. Я была в тумане, мечтаниях, иллюзиях, с пафосом произносила фразы, видела сцены, проходя по Саутгемптон-Роуд, так что вряд ли могу с уверенностью сказать, что жила это время, то есть с десятого октября.

Все само по себе бежит в единый поток, как было с «Орландо». Случилось то, что после отречения от романа факта все эти годы — после 1919 года — «Ночь и день» умер — я нахожу, как ни странно, бесконечное наслаждение в фактах и в обладании количествами, не поддающимся подсчету: хотя время от времени чувствую, что меня тянет к видению, но я отвергаю его. У меня правильная линия, я уверена, после «Волн», «Паргитеры» — то, что естественно ведет к следующей стадии — роману-эссе.

Понедельник, 19 декабря

Ну вот, сегодня я дописалась до полного изнеможения. Было бы хорошо, если бы я умела вовремя останавливаться и погружаться в прохладу, чтобы колесики моего мозга — когда я прошу их об этом — охладились, и замедляли ход, и останавливались. Опять возьмусь за «Флаша», надо немного охладиться. Боже мой, я написала 60 320 слов с одиннадцатого октября. Полагаю, быстрее я еще ничего не писала, даже «Орландо» или «На маяк». Кстати, 60 000 слов выпарятся и усохнут до 30 000 или 40 000 — грядет тяжелая работа. Ничего. Я закрепила контур и зафиксировала форму. В первый раз у меня такое чувство, что я не должна рисковать и переходить черту, пока книга не закончена...

Да, я буду свободной, полновластной, абсолютной хозяйкой своей жизни примерно с первого октября 1933 года. Никто не ворвется в нее на своих условиях; никто не заставит меня подчиняться. И вот тогда я начну писать поэтическую книгу. А эта,

* Роман будет называться «Годы» (Прим. переводчика).

кстати, освободила во мне такой фактический поток, о каком я и не подозревала. Наверное, двадцать лет я наблюдала и собирала факты — по крайней мере, после «Комнаты Джейкоба». Такое количество вещей вдруг явилось мне, что я не могу сделать выбор, — 60 000 слов в одном параграфе. Я не должна забывать о жестком контроле; не должна быть слишком саркастичной; должна сохранять определенный уровень свободы и осторожности. Но как же легко сравнивать новую книгу с «Волнами»? Интересно, сколько каратов в обеих книгах? Естественно, это снаружи: однако золота много — больше, чем я думала — в экстерьере. В любом случае, «была мягка моя кровать в богатом графском доме, но слаще будет ночевать в амбаре на соломе!»* Скажем, цыгане: не Хью Уолпол и не Пристли — нет. По сути, роман «Паргитеры» — двоюродный брат «Орландо», родство плоти: «Орландо» был хорошей школой. А теперь — ох, мне не придется писать, по крайней мере, десять дней — нет, четырнадцать, если не все двадцать один — надо сочинить главу о 1880—1900 годах, которая потребует от меня максимального мастерства. Но мне нравится, когда от меня требуется максимальное мастерство. Я собираюсь побыстрее справиться со всеми работами: завтра мы уезжаем. Осень была очень плодотворной, разнообразной и, полагаю, удачной — отчасти благодаря моему уставшему сердцу: я могла навязывать свои условия: и я еще никогда не жила в такой спешке, в таком сне, в таком сильном возбуждении и принуждении — почти ничего не замечая, кроме «Паргитеров».

Родмелл. Пятница, 23 декабря

Сегодня не первый день Нового года; но обиды должны быть прощены**. Надо написать о моей докучной бессвязной муке — прочитала больше 30 000 слов «Флаша» и пришла к выводу, что они никуда не годятся. Пустая трата времени — жуткая скука! Четыре месяца работы и, Бог знает, сколько чте-

* Народная баллада «Графиня-цыганка». Перевод С.Маршака (*Прим. переводчика*).

** В новом году В.Вулф начинала дневник в новой тетради. Эта и следующая запись сделаны в начале тетради, в которой записи 1933 года (*Прим. переводчика*).

ния — не возвышенного — не знаю, что можно из этого сделать. Это не предмет для такого объема: слишком он незначительный и слишком серьезный. В нем много хорошего, но должно было быть гораздо лучше. Итак, за два дня до Рождества я провалилась в знакомую серую неразбериху. Если честно, то это отчасти из-за «Паргитеров». И конечно же, я не могу вечно откладывать «Флаша»: и Л. будет разочарован; да и деньги мы потеряем — скучно. Я взялась за него с пылкостью сразу после «Волн», вроде бы для разнообразия; никаких предварительных раздумий; и вот результат: потребуются месяц напряженной работы — но все равно я в нем не уверена. А ведь за это время я могла бы сделать Драйдена и Поупа. В итоге я подошла к началу — не к концу — года с печальным сетованием. Солнце греет, как весной, и пчелы на цветах. Ничего, первопорядок останется тем же — обязательно.

Сегодня по-настоящему последний день старого, 1932 года, и я ужасно устала от «Флаша» — делаю по десять страниц в день и перегружаю свой мозг, — поэтому решила немножко отдохнуть и провести утро тут, как обычно, лениво обозревая жизнь... пруд наполняется; золотые рыбки умерли; наступил ясный бледный голубоглазый зимний день; и — и мои мысли с восторгом обращены на «Паргитеров», ибо я жажду наполнить паруса ветром и мчаться с Эльвирой, Мэгги и остальными по просторам человеческой жизни. На самом деле у меня не получается на усталую голову создать целостную книгу.

3 января 1933 года

Это немного неуместно*, но у меня все так. Мы приехали на праздник Анджелики, который был вчера, и у меня всего полчаса перед возвращением в новом «ланчестере» (не нашем — арендованном) обратно в Родмелл. Пробыли мы там почти две недели, и так как я молча скучала по машинке и одиночеству, то заработала головную боль. Теперь постараюсь снять напряжение, переписав противного пса Флаша, предполагаю, за тринадцать дней, чтобы освободиться — благословенная свобода! — и писать «Паргитеров». Я настояла на вечерней беседе.

Четверг, 5 января

Я очень довольна собственной изобретательностью, ведь не прошло и десяти лет, как мне удалось в пять минут соорудить великолепный письменный прибор, и больше не придется впадать в ярость, не имея чернил или ручки в критический момент писательской жизни и наблюдая, как мелькнувшая фраза рассе-

* Запись сделана в тетради 1932 года.

ивается из-за какой-то мелочи, — кроме того, я счастлива, что одолела сотую страницу «Флаша» — в третий раз переписала сцену с Уайтчэпел и не уверена, что она достойна того, к тому же не могу не позабавить себя на чистой голубой бумаге, которая, слава богу, не требует переписывания. День дождливый, туманный; за окнами ничего не видно... верно, сказывается возвышенное читательское настроение: если серьезно, я знаю, что «Волны» на много месяцев ослабили мою способность концентрировать внимание, — а еще статья за статьей для «Обыкновенного читателя». Я уже окрепла и с тех пор, как живу в Родмелле, прочитала, внимательно и вдумчиво, двенадцать-пятнадцать книг. Вот уж радость — такое чувство, будто у меня в голове ровно шумит мотор «роллс-ройса», идущего на скорости семьдесят миль в час... На чтение меня вдохновляет прилив творческих сил, благодаря «Паргитерам» — они дарят мне свободу — как будто все вливается в один поток — все книги размягчаются и раздуваются в нем. Однако не исключено, что это всего лишь знак поверхностной, торопливой, нетерпеливой работы. Не знаю. У меня есть еще одна неделя на «Флаша», а потом я займусь проблемой двадцати лет в одной главе. Я вижу эту книгу как неравномерно распределенный во времени сериал — много больших шаров, соединенных прямолинейными подробными повествованиями. Я позволю себе такую форму, какую не могла позволить, когда писала «Ночь и день» — книгу, научившую меня многому, хотя и неважную.

Воскресенье, 15 января

Я пришла сюда, в последнее здешнее утро, написать письма, ну и, конечно же, заглянула в дневник. За три недели не написала ни строчки — печатала «Флаша», которого, слава богу, вчера «закончила», почти без кавычек. Постепенно «Флаш» был вытеснен из гнезда, словно кукушонком, «Паргитерами». Странно устроен человеческий разум! Около недели назад я стала придумывать сцены — бессознательно: проговаривала фразы как бы для себя; и так всю неделю просидела тут, глядя на машинку и громко произнося фразы из «Паргитеров». Все больше и больше смахивает на сумасшествие. Но это закончится через несколько дней, когда я вновь позволю себе писать. Читаю Парнелла. Это хорошо; но сцены так и лезут в голову, и из-за этого

неприятно частит пульс. Пока я заставляла себя заниматься «Флашем», вернулась головная боль — в первый раз за эту осень. Почему из-за «Паргитеров» у меня быстрее бьется сердце; а из-за «Флаша» стягивает затылок? Какая связь между мозгом и телом? Никто на Харли-стрит* не может это объяснить, но симптомы чисто физические и так же отличаются друг от друга, как одна книга отличается от другой.

Четверг, 19 января

Должна признаться, что «Паргитеры» — как кукушата в гнезде, где по праву должен быть «Флаш». Мне нужно поправить всего пятьдесят страниц и послать их Мэйбел; а проклятые сцены и диалоги из «Паргитеров» все время вспыхивают у меня в голове; и, исправив одну страницу, я сижу, ничего не делая, минут двадцать. Полагаю, у меня поднимется давление, когда я начну писать. Но пока жутко утомительно и отвлекает.

Суббота, 21 января

Ну вот, «Флаш» никак не заканчивается, и я не могу его отдать. Печальная правда. Все время хочется его ужать или сделать более цельным. Это не игра словами — так нельзя; по крайней мере, когда их ставишь «навсегда». Итак, я задраиваю моих «Паргитеров», скажем, до среды — клянусь, не дольше. У меня возникают сомнения насчет значимости персонажей. Боюсь дидактики: возможно, ложная страсть внушила мне те слова перед Рождеством. Но, так или иначе, это было прекрасно и будет опять — лишь бы снова придумывать одну сцену за другой — но осторожно. Вот о чем я плачу в это прекрасное морозное январское утро.

Четверг, 26 января

Всё, «Флаш», честное слово, отправлен. Никто не сможет сказать, что я не уделяю особого внимания коротким вещам. А теперь, после того как пять недель моя голова была наклонена в одну сторону, надо наклонить ее в другую, то есть в сторону

* Харли-стрит возникла в 1753 г. В 1845 г. сюда стали переезжать врачи, и к 1914 году здесь жило 200 врачей. Неподалеку находятся Лондонское медицинское общество и Королевское общество медицины (1912) (Прим. переводчика).

«Паргитеров». Еще ни один критик не останавливал свое внимание на тяге разума к переменам. Говорят о многосторонности — но ведь необходимо менять дороги. Если бы у меня хватило ума залезть в мастерскую Шекспира, думаю, я обнаружила бы тот же самый закон — трагедия, комедия и так далее. Неясно вырисовывающиеся контуры «Паргитеров» я определяю как чисто поэтические. Однако «Паргитеры» великолепная и солидная вещь, которую я приберегаю на завтра. Интересно, так ли уж она хороша?

Четверг, 2 февраля

Не очень-то мне хочется уезжать в марте, когда у меня на руках «Паргитеры». Я собираюсь много, разносторонне и плодотворно работать над этой книгой. Сегодня закончила — лучше, чем обычно — первую главу. Оставляю междуглавья — вношу их в основной текст: и представляю хронологический указатель. Неплохая идея? Голсуорси умер два дня назад, я вдруг вспомнила, когда возвращалась вдоль Серпентина* от миссис В. (кто-то умирает — кто-то оживает) и чайки открывали свои турецкие сабли — множество чаек. Голсуорси умер; А. Беннетт говорил мне, что терпеть не может Голсуорси. И был вынужден восхвалять книги Джека перед миссис Г. А я могла сказать о Голсуорси все, что хотела. Теперь этот сильный человек лежит мертвый.

Суббота, 25 марта

У нас совершенно прогнившее общество, проговорила я только что голосом Эльвиры; Паргитер, и я ничего у него не возьму, и так далее, и так далее. Теперь как Вирджиния Вулф я должна написать — ох, ну и скука — вице-канцлеру Манчестерского университета и отказаться от чести стать доктором филологии. А еще надо написать леди Симон, которой очень хотелось сделать меня доктором и которая приглашала нас погостить. Один Бог знает, как мне превратить язык Эльвиры в вежливый газетный штамп. Странное совпадение! реальная жизнь уготовила для меня в точности такую же ситуацию, о какой я писала. Мне трудно понять, кто я и где: Вирджиния или Эльвира: в «Паргитерах» или вне их. Два дня назад мы обедали

* Озеро в лондонском Гайд-парке.

с Сьюзан Лоренс. Там же была некая миссис Стокс из Манчестерского университета. «Как счастлив будет мой муж вручить вам в июле степень!» — обратилась она ко мне. И продолжала говорить о счастье Манчестера, который увидит меня награжденной, пока я не набралась мужества и не сказала: «Но я отказалась от нее». Все тотчас принялись это обсуждать — Невинсоны (Эвелин Шарп), Сьюзан Лоренс и остальные. Они говорили, что приняли бы степень от университета, но не приняли бы награду от государства. Из-за них я чувствовала себя глуповатой, самодовольной и, может быть, немного экстравагантной; но не очень всерьез. Ничто не заставит меня потворствовать всякой чепухе. Мне ведь это не доставило бы ни малейшего удовольствия. Я, правда, верю, что Несса и я — она была со мной и воспользовалась моими словами о глупости быть награжденной по признаку пола — не стремимся к «паблисити». Теперь что касается вежливых писем. Многоуважаемый вице-канцлер...*

Вторник, 28 марта

Вежливые отказы отосланы. Пока я не получила, да и вряд ли получу, ответы. Нет, слава Богу, у меня нет желания в июле отрываться от работы только ради того, чтобы мне надели на голову меховую шапочку. Стоит самая прекрасная весна, какая только может быть — мягкая, теплая, голубая, туманная.

Четверг, 6 апреля

Ах, как я устала! За это время совершенно измучилась с «Паргитерами». Довела до Эльвиры в постели — много месяцев я вынашивала в голове эту сцену, а теперь не могу ее написать. А ведь это поворотный момент в книге. Нужен хороший толчок, чтобы она повернулась на петлицах. Как всегда, полна сомнений. Пишу слишком быстро, книга получается слишком жидкой и слишком яркой на поверхности. Что ж, я измучена и не могу двигать ее дальше, ничего не поделаешь; придется похоронить ее на месяц — до возвращения из Италии; а тем временем я напишу о Голдсмите и так далее. Потом со свежими силами вновь возьмусь за нее и буду заниматься ею в июне, июле, августе, сентяб-

* Предложение не закончено.

ре. За четыре месяца я напишу первый вариант — полагаю, 100 000 слов. 50 000 слов за пять месяцев — мой рекорд.

Четверг, 13 апреля

На сей раз я слишком заработалась. Стала как выжатый лимон. Но мы сегодня едем, и я буду греться на солнце, взяв с собой всего ничего книг. Писать не буду; не буду видеться с людьми. Легкий укус от Гиссинга в «T. L. S.»*, на который хорошо бы ответить. Но, увы, не могу найти нужных слов — на ум идет совсем не то — ничего не поделаешь: знакомое состояние после трех месяцев работы — эта книга для меня настоящая радость!

Вторник, 25 апреля

Вот и все кончилось — наши десять дней: почти каждый день я писала о Голдсмите — не очень-то видя смысл в моих Голдсмитах и прочих — и читала Голдсмита и прочих. Да: теперь мне предстоит выправлять гранки «Флаша» — в какой-то мере я все еще сомневаюсь в этой маленькой книжке; но у меня сейчас вообще сомневающееся настроение: взболтанное настроение из-за быстротечности времени, потому что в пятницу, пятого, мы едем в Сиену; у меня нет времени остановиться и подумать о своей истории, в основе которой постоянство. И, как всегда, мне хочется поискать что-то новое — чтобы совершенно избавиться от привычного и получить то освобождение, которое Италия с ее солнцем, ленью и безразличием всех ко всем может мне дать. Я поднимаюсь, как воздушный пузырек в бутылке...

Однако «Паргитеры». Думаю, это потрясающая затея. Надо быть храброй и любить риск. Я намереваюсь показать все современное общество — на меньшее я не согласна: факты и мечты. Соединить их. То есть «Волны» соединить с «Ночью и днем». Возможно ли? До сегодняшнего дня я написала 50 000 слов о «реальной» жизни; в следующих пятидесяти тысячах я должна их откомментировать — Бог знает как, — но не замедляя движения. Трудность в фигуре Эльвиры. Нельзя, чтобы она слишком выделилась. Ее нужно показать лишь в соотношении с другими. Это даст, полагаю, большое преимущество обеим реальностям — контраст. Сейчас я думаю, что события движутся слиш-

* «Таймс литерери саплмент».

ком быстро, легко и независимо друг от друга. Читается поверхностно, но живо. Как мне придать написанному глубину, но избежать статичности? Однако мне нравится решать подобные задачи, и, как бы там ни было, в этой натуре есть ветер и есть жизнь. Но у нее должна быть цель — великая глубина и великое напряжение. В ней должны быть сатира, комедия, поэзия, повествование; а какая форма соединит все это вместе? Попробовать ввести драму, письма, стихи? Кажется, я начинаю хвататься за все. И это чтобы покончить с прессом моей нормальной дневной жизни. Пусть будут миллионы идей, но не будет проповеди — история, политика, феминизм, искусство, литература — короче говоря, все, что я знаю, чувствую, над чем смеюсь, что презираю, люблю, обожаю, ненавижу и так далее.

Пятница, 28 апреля

Просто запись. Вчера вечером мы вышли из автомобиля и стали спускаться к реке. Летний вечер. Каштаны в кринолинах с поднятыми вверх свечками; серо-зеленая вода и так далее. Неожиданно Л. бросился в сторону; там шагал на некрепких ногах, белея бородой, Шоу. Мы поговорили, стоя у ограды, минут пятнадцать. Он сложил руки на груди, выпрямился, даже откинулся назад: зубы с золотыми пломбами. Как раз шел от дантиста и «соблазнился» хорошей погодой. Очень дружелюбен. Весьма искусен в убеждении окружающих в своей любви. Фонтан идей. «Вы забываете, что аэроплан тот же автомобиль — он побеждает. — Мы перешли через высокую стену — увидели вдалеке маленькое смутное нечто. Конечно же, тропики — это настоящее. Люди там будто первозданные в отличие от нас, похожих на смазанные копии. Я видел, как китаец с ужасом глядел на нас — когда мы говорим о человеческих существах! Правда, круиз стоит тысячи: а посмотрите на нас, никому и в голову не придет, что у нас есть деньги на билет до Хэмптон-Корт*. Сколько старых дев сэкономили годами ради этого круиза. Ох, уж эта моя популярность! Ужасно. В каждом порту высаживают не меньше часа. Я сделал ошибку приняв ...** приглашение. Сам не знаю, как оказался на возвышении, а вокруг целый университет. Они начали орать. Мы хотим Бернарда Шоу. Ну, я сказал им, что все молодые

* Дворец XVI в. в Лондоне.

** Пропуск в рукописи.

люди в двадцать один год должны быть революционерами. А после этого полицейские хватили их дюжинами. Хочу написать для «Геральд» статью о Диккенсе, который много лет назад говорил о глупости парламента. О, если бы я не писал, то не выдержал бы это путешествие. Я уже написал три или четыре книги. Мне нравится максимально нагружать публику. Книги надо продавать по фунту. Прелестная собачонка. Я вас не задерживаю? Вы не замерзли?» (Он коснулся моего плеча.) Двое мужчин остановились и стали пялиться на нас. Он зашагал прочь на неверных ногах. Я сказала, мы понравились Шоу. Л. думает, он никого не любит. Что будут говорить о Шоу через пятьдесят лет? Сейчас ему семьдесят шесть, как он сказал: слишком стар для тропиков.

Вчерашний вечер — чтобы немного отдохнуть от выправления глупой книжки «Флаш» — вот уж пустая трата времени — я опишу Бруно Вальтера. Это маленький толстый человечек; и мало приятный. И вовсе не «великий дирижер». Отчасти славянин, отчасти еврей. Почти совсем сумасшедший: говорит, что не может избавиться от «яда» Гитлера, как он это называет, внутри себя. «Вы не должны думать о евреях, — повторял он. — Вы должны думать об отвратительной нетерпимости. Вы должны думать о состоянии всего мира. Оно ужасно — ужасно. Если стало возможным такое убожество, такая посредственность! Наша Германия, которую я любил, с нашими традициями, с нашей культурой. Теперь мы опозорены». Потом он сказал нам, что говорить можно только шепотом. Повсюду шпионы. Ему приходилось целыми днями сидеть в своем номере в лейпцигском отеле и звонить по телефону. Все время маршируют солдаты. Они никогда не останавливаются. А по радио, между передачами, военная музыка. Ужасно, ужасно! Единственная надежда — монархия. Он никогда не вернется в Германию. Его оркестр просуществовал сто пятьдесят лет; ужасен дух того, что там происходит. Мы все должны объединиться. Мы должны отказаться от встреч с немцами. Мы должны заявить, что они нецивилизованные люди. Мы не должны ни торговать, ни играть с ними. Мы должны сделать так, чтобы они почувствовали себя изгоями — не надо сражаться с ними; надо их игнорировать. Потом он перешел на музыку. У него напор — гений? — который заставляет его проживать все, что он чувствует. Говорил о дирижировании; знает, по-видимому, всех исполнителей.

Жуан-ле-Пэн. Вторник, 9 мая

Итак, я решила, что напишу об этом лице — о лице женщины, которая что-то шила из очень тонкого блестящего зеленого шелка за столом в венском ресторане, куда мы пришли на ланч. Она была как судьба — непревзойденная мастерица всех искусств самосохранения: вьющиеся блестящие волосы, бесстрастные глаза; ничто не могло взволновать ее; она сидела и шила что-то из зеленой шелковой ткани, люди все время входили и выходили; но она не обращала на них внимания, ничего не зная и ничего не боясь; ничего не ожидая — великолепно экипированная француженка из среднего класса.

В Карпентрасе вчера вечером мы встретились со служаночкой, у которой были честные глаза, кое-как расчесанные волосы и почти черный передний зуб. Я почувствовала, что жизнь непременно раздавит ее. Возможно, ей лет восемнадцать; немного больше; плывет по течению, надежд никаких; бедная, не слабая, но управляемая — но еще не настолько управляемая, чтобы не испытывать жгучего желания, сиюминутного, путешествовать на машине. Ах, я не богата, сказала она мне — это было понятно по ее дешевым чулкам и туфлям. Ах, как я завидую вам, вы можете путешествовать. Вам нравится в Карпентрасе? Здесь всегда сильный ветер. Вы еще приедете? Колокол звонит. Не обращайтесь внимания. Вот приедете еще и посмотрите. Нет, я никогда такого не видела. Ну да, она любит все английское. («Она» — это другая девушка, у которой волосы напоминали вздыбившиеся кактусовые колючки.) Да, мне всегда нравился английский, сказала она. Честное личико, черные зубы, навсегда останется в Карпентрасе. Я предполагаю: она выйдет замуж? станет одной из толстух, которые сидят в дверях и вяжут? Нет: я предрекаю ей некую трагедию; потому что у нее хватает ума заговорить нам с нашим «ланчестером».

Пиза. Пятница, 12 мая

Да, Шелли выбрал лучше, чем Макс Бирбом. Он выбрал порт; залив; дом с балконом, с которого Мэри глядела в море. Утром причаливали, хлопая парусами, суденышки — маленький городок с петляющими улочками, высокими розовыми и желтыми, как везде на юге, домами, не очень изменившимися, как я полагаю: здесь очень шумно из-за разбивающихся о берег волн,

город весь открыт морю; а отдельные дома стоят почти лицом к лицу с морем. Шелли, наверное, плавал тут, гулял, сидел на берегу, а Мэри и миссис Уильямс пили кофе на балконе. Смею заметить, что люди и одежды были примерно такими же. Как бы то ни было, это в своем роде очень хороший дом великого человека. Какими словами описать повсеместность моря? Ничего не могу придумать. Небо кажется высоким, если глядеть из спальни пизанского «Неттано», где полным-полно французских туристов. Мимо течет Арно, покрытая обычной кофейной пеной. Смотрели аркады; это настоящая Италия, с застарелым запахом пыли; люди толпятся на улицах; под — как это называется? — как называется улица с колоннами? — аркадой. Дом Шелли ждет на берегу, а Шелли не идет, и Мэри с миссис Уильямс смотрят с балкона, а потом из Пизы является Трилони, и тело Шелли сжигают на берегу — вот о чем я думаю. Краски тут — белый или голубоватый мрамор на фоне очень светлого высокого неба. Башня кренился. Церковный попрошайка в фантастической кожаной шапке. Священники прогуливаются. В этих монастырях — Кампо Санто — Л. и я бродили двадцать один год назад и встретили Палгрейвов, от которых я попыталась спрятаться за колонну. А теперь мы приехали на машине; а Палгрейвы — они умерли или очень старые? Как бы то ни было, мы покинули черную страну: страну лысых грифов и несчастных вилл с красными крышами. В эту Италию приезжают на поезде с Вайолет Дикинсон — а потом пересаживаются в автобус отеля.

Сиена. Суббота, 13 мая

Сегодня мы видели самый прекрасный пейзаж и печального человека. Пейзаж был как поэтическая строчка, которая живет сама по себе; гора, вся красно-зеленая; вытянутые линии, ни одного неиспользованного дюйма; старая, дикая, великолепно сказанная, раз и навсегда: и я поднялась наверх с какой-то группой и спросила, что это за деревня. Она называется — *; и женщина с голубыми глазами сказала: «Не желаете зайти ко мне в дом и попить?» Ей до смерти хотелось поговорить. Четыре или пять женщин собрались вокруг нас, и я произнесла речь в духе Цицерона о красоте тамошних мест. Но у меня нет денег, чтобы

* Пропуск в тексте.

путешествовать, сказала она, ломая руки. Мы не пошли к ней в дом — коттедж на склоне горы; обменялись рукопожатием; у нее все руки были в пыли; она не хотела подавать их мне; но я все же взяла ее руку и пожалела, что не приняла ее приглашение и не пошла в ее дом, расположенный в самом красивом месте на свете. Потом, когда мы ели на берегу реки, где оказалось много муравьев, то увидели печального мужчину. У него было пять или шесть рыбешек, которых он выловил руками. Мы сказали, места очень красивые, а он ответил, нет, он предпочитает город. Он ездил во Флоренцию; нет, ему не нравится деревня. Ему хочется путешествовать, но у него нет денег; он работает в одной из деревень; нет, он не любит деревню, повторял он любезным тоном воспитанного человека: здесь нет театров, нет кино, ничего нет, кроме совершенной красоты. Я дала ему две сигареты; сначала он отказался, а потом предложил нам своих шесть или семь рыбешек. Но нам негде приготовить их в Сиене, сказали мы. Да, согласился он, и на этом мы расстались.

Очень мило, когда говоришь, что делаешь записи, но писательство на самом деле трудное искусство. Все время надо заниматься отбором: а я слишком ленива, поэтому песок просыпается у меня между пальцами. Писательство ни в коей мере не простое искусство. Кажется нетрудным думать о том, что бы такое написать; но мысль исчезает, бежит туда-сюда. Мы в шумной Сиене — большом городе с каменными арками, шумном от все перекрывающих визгливых криков детей.

Воскресенье, 14 мая

Итак, я читаю — просматриваю — «Священный источник»*, самую неподходящую книгу для такого шума — сидя возле открытого окна, глядя поверх голов, голов, голов — вся Сиена стала серо-розовой, гудят машины. Хорошо ли бежать по натянутому канату? Я не бегу — вот мой ответ. Я позволяю ему обрываться. Отмечу лишь, что считаю знаком мастерства, когда писатель берет и разбивает свою заготовку. Ни один из робких имитаторов Г. Д.** не находит в себе смелости, стоит ему раскрутить фразу, оборвать ее. А у него природный дар — он личность: он глубоко

* Роман 1901 г. Генри Джеймса (*Прим. переводчика*).

** Генри Джеймс.

засовывает ложку в сваренную им похлебку — непонятную мешанину. Вот это — его жизнь — его язык — его цепкость, его хватка, его ритм — всегда дышали на меня свежестью, даже если я спрашивала, как может человек, находящийся вне оранжереи с орхидеями, сочинять такую орхидейную мечту. Ох уж эти эдвардианские* дамы с тусклыми волосами, эти одетые на заказ «мои дорогие мужчины»! Все же в сравнении с вульгарным грубым и стариком Криви — Л. укусила блоха — Г. Д. мускулист и тош. Вне всяких сомнений, общество Регента — запах бренди и костей, покрашенные бархатные женщины Лоренса — общая распушенность, и буйство, и вульгарность в высшей степени. Конечно же, и Шелли, и Вордсворты, и Кольриджи жили по другую сторону. Но когда поток вырывается со страниц Криви, то для всего мира это что-то между Букингемским дворцом, Брайтоном и собственным курсивным стилем королевы — разнужданное и слабое: и как можно рассчитывать на лекарство для одного-единственного человека? Ничтожные лорды и леди перемигиваются и переедают; везде плюш и позолота; и принцесса с принцем — распад и ожирение захватывают восемнадцатый век и раздувают его до размеров зрелого дождевика. Очевидно, 1860 год — граница.

Понедельник, 15 мая

Теперь должно быть сплошное описание — я имею в виду, невысоких, с четкими очертаниями гор; белых коров и тополей, и кипарисов, и, словно вышедшей из-под резца скульптора, бесконечно музыкальной, обильной зеленой земли — вплоть до Аббазии** — туда мы отправились сегодня; и не могли отыскать ее, спрашивали одного за другим усталых вежливых крестьян, но ни один не бывал дальше четырех миль от своего дома. Наконец напали на каменщика, который знал дорогу. Но он не мог бросить работу, потому что на другой день ждал инспектора. И он был один, совсем один, целый день в полном одиночестве, даже словом перемолвиться не с кем. И старуха Мария в Аббазии тоже. Она что-то нечленораздельно бормотала, показывая

* Эпоха Эдуарда VII, сына королевы Виктории, правившего в 1901—1910 гг. (*Прим. переводчика*).

** Аббазия ди Антимо в Монтальчино.

нам на огромное каменное здание; что-то бормотала и бормотала об англичанах — какие они были красивые. Ты графиня? — спросила она меня. Но ей тоже не нравится Италия. Люди кажутся мне ограниченными и измученными; похожи на кузнециков с поведением кротких бедняков; печальные, мудрые, терпимые, с юмором. Был еще мужчина с мулом, который заставил своего мула бегом сойти с дороги. Нас хорошо принимают, потому что мы можем разговаривать с ними; они собираются в кружок и обсуждают нас после нашего отъезда. Толпы жалких и добрых мальчишек и девчонок всегда рядом с нами, машут руками, трогают свои шапочки. И никто не смотрит кругом — кроме нас — на костяную белизну вечера; на краснеющие фермы; как легкие острова, плывущие в море тени, — это очень красиво — черные полосы кипарисов вокруг ферм, как меховая опушка; и тополи, и реки, и поющие соловьи, и неожиданный дождь апельсиновых цветов; и белые, словно алебастровые, коровы с поющими колокольчиками — огромные мешки из белой кожи, висающие у них под мордами — бесконечное безлюдие, одиночество, тишина: ни дома, ни деревни; одни виноградники и оливковые плантации — были, есть и будут. Бледно-голубые горы четко и трогательно вырисовываются на фоне неба — гора за горой.

Пьяченца. Пятница, 19 мая

Странно писать число. В этой потерявшей привычные ориентиры жизни трудно вспомнить, какой день на дворе, и все-таки... Три точки, чтобы определить сама не знаю что. Целый день мы ехали из Леричи через Апеннины, и сейчас холодно, неудобно и неудобно в просторной итальянской таверне, похожей на галерею, в которой нет даже кресел, так что Л. сидит на стуле, а я приютилась на кровати, чтобы использовать единственную лампу, находящуюся как раз между нами. Л. пишет указания для «Пресс». Я пытаюсь читать Гольдони.

В Леричи жарко, небо голубое, и комната у нас с балконом. Здесь много мисс и их матерей — одетые словно для холодного дня в Уимблдоне и давно упустившие все шансы устроить свою судьбу, мисс с нежной грустью и привычной печалью молча просиживают все трапезы — организованные по-английски. Здесь живет ушедший в отставку англоиндус, который пригла-

шает, скажем, мисс Тутчет на прогулку, у него обветренное красное лицо, и он в восторге от вечернего пения в Аббатстве. Она идет в Башню; где комната «моего брата». Et cetera. Et cetera. Об Апеннинах мне сказать нечего — разве что наверху они похожи на зеленый зонтик изнутри; спица за спицей; и облака нацеплены на палку. Едем в Парму; жаркий, каменный, шумный город; в магазинах нет карт; едем дальше по отличной дороге до Пьяченцы, где оказываемся вечером в девять часов без шести минут. В этом неизбежная трудность нашего путешествия — цена, которую надо платить за движение и свободу, — пыль на ботинках и завтрашний отъезд — ланч на траве возле глубокой холодной реки. Через неделю все будет кончено — комфорт — дискомфорт; энергия, порыв, каких ни привычные дела, ни время, ни привычки не дают. Но мы вновь обретем их — и это будет больше, чем порыв путешественника.

Воскресенье, 21 мая

Писать, вместо того чтобы спать, — волнующая миссия — я сижу возле открытого окна во второсортной драгиньянской таверне — снаружи платаны, птичка поет на одной ноте, кто-то громко говорит — все как обычно. В воскресенье автомобильные гонки во Франции; ночью все отсыпаются. Хозяева отелей пресыщены и почти не отрываются от карт. Но в Грассе жизнь бьет через край — мы приехали поздно. Уезжаем рано. Я погружаюсь в Криви; Л. — в «Золотую ветвь»*. Мы жаждем добраться до постели. Это тоже плата за путешествие — сонные неудобные ночи в отелях — сидение на стульях под лампой. Однако все время работает искушение — завтра в Экс — домой. «Дом» становится магнитом, ибо я не могу остановиться и не думать о «Паргитерах»: не могу жить без этого возбудителя — но что может быть лучше? Я уже устала от отдыха и хочу работать — вот неблагодарность! — я хочу также горы в Фаббрии и горы в Сиене — но не другие горы — не эти черно-зеленые мрачные одинаковые южные горы. Сегодня в Вансе между прямоугольными надгробиями мы видели выложенного разноцветными камешками Феникса бедняжки Лоуренса**.

* Книга Джеймса Джорджа Фрэзера (Прим. переводчика).

** Д.Г. Лоуренс похоронен в Вансе (Прим. переводчика).

Вторник, 23 мая

Только что я сказала себе, если бы возможно было написать, то мне подошла бы здешняя белая бумага, не слишком большая по размеру и не слишком маленькая. Но я не хочу писать, разве что выразить свое раздражение. Все из-за здешних условий. Я сижу на кровати Л.; он — в единственном кресле. Люди топают туда-сюда по тротуару. Это Вена. Здесь жарко, как на сковороде, — и все жарче и жарче — мы едем по Франции; сегодня вторник; мы пересекаем границу в пятницу, и этот странный отрезок путешествия, удаляющий нас от нашего обиталища и наших привычек, подойдет к концу. Мы едем вперед, вперед — через Экс, через Авиньон, вперед, вперед, под сплетенными ветками деревьев, по пустынным песчаным дорогам, между серо-черными горами с замками, вокруг которых сплошные виноградники; а я думаю о «Паргитерах»; Л. за рулем; когда появляются тополя, мы выходим из машины и едим на берегу реки; потом едем дальше; пьем чай на берегу реки: получаем письма, узнаем, что умерла леди Синтия Мосли; фотографируем пейзаж; удивляемся смерти; чуть не засыпаем от жары и решаем спать неподалеку — «Отель де ла Пост»; читаем еще одно письмо и узнаем, что Книжное общество, возможно, возьмет «Флаша», после чего начинаем планировать, как потратим тысячу или две тысячи фунтов, если получим их. А что бы с этими деньгами сделали маленькие венские бюргеры, попивающие кофе? — спрашиваю я. Девушка-машинистка, юноша-клерк. По какой-то причине они, как мне показалось, заговорили об отелях в Лионе; но у них нет ни пенни за душой; все мужчины отправляются в туалет, видны их ноги; входят марокканские солдаты в больших плащах; дети играют в мяч, вокруг стоят люди; все становится похожим на картину, все скомпоновано, и ноги в особенности — какие-то странные углы; люди обедают в отеле; непривычная атмосфера, поскольку мы уезжаем рано утром, застревает у меня в памяти как картинка венской жизни, это важно. Теперь домой, там свобода, никаких проблем с багажом — ох, усядемся в кресла и будем читать, и не придется просить минеральную воду, чтобы почистить зубы!

Тависток-сквер, 52. Вторник, 30 мая

Ну вот, из всего, что только есть на земле, несомненно, самое ужасное возвращаться домой после отдыха. Никогда еще не бы-

до такой бесцельности и такой депрессии. Не могу ни читать, ни писать, ни думать. Я не преувеличиваю. Да, комфорт; но кофе хуже, чем я ожидала. И мои мозги не работают — если точно, то у меня нет сил взяться за ручку. Надо, чтобы эту машину — мою машину, я хочу сказать — поставили на рельсы и подтолкнули. Господи — как я толкала ее вчера, чтобы она вновь заработала над Голдсмитом. Статья наполовину написана. Лорд Солсбери говорил что-то вроде того, что обеденные речи напоминают неразогретые остатки вчерашнего ужина. Я вижу белое сало на страницах моей статьи. Сегодня немного теплее — тепловатое мясо: кусок остывшей баранины. Прохладно и скучно. Но все-таки я слышу, как колесики начинают поворачиваться. На Троицын день, то есть в понедельник, мы едем в Монкс-хаус — в униженный загородный Монкс-хаус. Не могу смотреть на «Паргитеров». Пустая раковина, где нет улитки. И я пустая — холодный кусок мозга. Ничего. Вот окунусь в «Паргитеров» с головой. А сейчас я заставляю свои мозги вернуться в Италию — как его? — Гольдони. Всего-то несколько слов.

Мне кажется, что в моем состоянии, в моем подавленном состоянии постоянно живет множество людей.

Среда, 31 мая

Мне кажется, я могу на четыре месяца погрузиться в «Паргитеров». Стало легче — физически легче! Я чувствую, что больше не могу не писать, что мои мозги не выдерживают пытки, словно они все время бьются о стену, за которой ничего нет, — я имею в виду «Флаша», «Голдсмита», поездку по Италии.

Меня позвали держать пари (дерби). В этом году, говорят, нет фаворита.

Итак, завтра я намерена бежать от этого. А если меня не ждет ничего, кроме чепухи? Книга должна быть рискованной, храброй, она должна сломать все загородки. Пусть будут драматические куски, стихи, письма, диалоги: она должна быть округлой, не плоской. Не одной лишь теорией. Пусть будут разговоры, споры. Как это сделать — вот вопрос. Я имею в виду интеллектуальный спор в художественной форме. Трудные и интересные задачи на ближайшие четыре месяца. Но сейчас я не представляю свои возможности. Я совершенно дезориентирована четырехнедельным отдыхом — нет, трехнедельным, — но завтра мы опять едем в Родмелл. Надо заполнить все щели книгами — но

мне совсем не хочется погружаться в чтение — ладно, завтра отправлюсь к Мюррей насчет платья: а там за углом Этель; никаких писем; после Троицына дня полная неразбериха. Вчера вечером, когда я ехала по Ричмонд-стрит, то очень серьезно думала о синтезе моего существа; воедино его соединяет лишь писательство; в нем нет целостности, пока я не пишу; сейчас я забыла, что было таким серьезным в моих размышлениях. Рододендроны в Кью похожи на разноцветные стеклянные холмы. Ох, какое волнение, ох, какое беспокойство в моем настроении.

Очень хорошо: старые «Паргитеры» начинают разбегаться; и я говорю, пора за дело. Скажем так, писательство предполагает усилие; писательство — это отчаяние; и все же на днях во время нестерпимой жары в Родмелле я поняла, что перспектива — полагаю, это как раз и было нечто вроде моей серьезной мысли в Ричмонде — приобретает четкие очертания; да; пропорции правильные; хотя я на пределе страдания; переживаю, как сегодня утром, мрачное отчаяние, и, о господи, когда дело дойдет до переписывания, буду страдать нестерпимо (это слово означает лишь невозможность выразить мое состояние словами); когда надо будет собрать всё-всё-всё — бесчисленное всё — вместе.

Понедельник, 10 июля

Белла* приехала и ударила головой об окошко в автомобиле. Порезала нос и чувствовала себя не в своей тарелке. К тому же я пребывала в «моем состоянии» — очень сильном и остром; в черной меланхолии отправилась гулять в Риджентс-парк, и мне пришлось, как в старину, призвать мои когорты на помощь, что они более или менее сделали. Сия запись подтверждает мои взлеты и падения, многие из которых проходят незарегистрированными, так как они послабее. До чего же все знакомо — шагаешь по дороге, а сердце сжимается от болезненной печали: желание умереть, как встарь, и все это, как мне кажется, из-за пары случайных слов.

Четверг, 20 июля

Я опять вся в «Паргитерах» — и это после целой недели почти нетронутых страниц. Теперь главное всё спрессовать: то есть со-

* Леди Сауторн.

хранить ритм, но передать смысл. Мне кажется, то, что получается, все больше и больше тяготеет — во всяком случае, сцены с Э. М. — к драме. Думаю, следующий этап должен быть объективным, реалистическим, в манере Джейн Остин: история должна развиваться без остановки.

Суббота, 12 августа

Итак, естественно, после миссис Неф я очень устала — меня трясло и колотило. На два дня я отправилась в постель и проспала, кажется, семь часов, вновь посетив тихие просторы. Не понимаю — что означают эти неожиданные приступы полного истощения? Я приезжаю сюда писать и не могу даже закончить фразу; меня сбивает с ног; как встарь; неужели это работа подсознания? Я читала Фабера о Ньюмене; сравнивала его описание нервного срыва; когда отказывает какая-то часть механизма; не это ли происходит со мной? Наверное, не совсем. Потому что я ни от чего не уклоняюсь. Я хочу писать «Паргитеров». Нет. Полагаю, жизнь в двух мирах — роман, реальность — мой стиль. Нефы чуть не сломали меня, потому что увели слишком далеко от одного из миров; я хочу прогулок, спонтанной детской жизни с Л. и другой жизни, когда пишу во всю мочь: необходимость вести себя осторожно и уверенно с чужими людьми уводит меня от этого: отсюда резкий упадок сил.

Среда, 16 августа

Из-за полета сэра Алана Кобхэма, Анджелики, Джулиана и добывания лодки у меня опять головная боль и постель, я не видела Этель, но слышала ее голос, написала утром шесть страниц, не видела Вулфов, опять сижу у себя*, перебираю «Паргитеров» и думаю: о Господи, дай мне силы придать этому какую-нибудь форму. Ну и сражение мне предстоит! Ничего. Я хочу написать о форме, потому что прочитала Тургенева. (Как же у меня дрожит рука после головных болей — не могу сладить ни со словами, ни с ручкой — исчезла привычка.)

Итак, форма — это ощущение того, что одно закономерно следует за другим. Отчасти это логика. Т. писал и переписывал.

* Имеется в виду рабочая комната в глубине сада Монкс-хаус (Прим. переводчика).

Отделяя необходимое от не необходимого. Достоевский же говорил, что важно всё. Но Д. нельзя читать дважды. Шекспира обязывала к продуманной форме сцена. (Т. утверждает, что нужно искать новую форму для старого содержания; но мне кажется, он пользуется этим словом в другом смысле.) Должно быть сохранено главное. Как его узнать? Как узнать, форма Д. лучше или хуже формы Т.? Здесь нет ничего, данного заранее. Идея Т. состоит в том, что писатель указывает на главное, а читатель домысливает остальное. Д. снабжает читателя всей возможной помощью и всеми мыслимыми подсказками. Т. сокращает возможности читателя. Трудность критики в том, что это внешнее. Писатель же должен идти вглубь. Т. писал дневник для Базарова: писал, встав на его точку зрения. У нас есть всего лишь 250 коротких страниц. Наша критика — взгляд с высоты птичьего полета на верхушку айсберга. Остальное под водой. Почему бы не пойти в этом направлении? Статья может быть более ломаной и менее цельной, нежели обычно.

Четверг, 24 августа

Неделю назад, в пятницу, если точно, я вновь обрела мой разум и погрузилась в «Паргитеров», решив снять с них все мясо, прежде чем продолжать повествование и придумывать новые сцены. Я перечитываю всю первую часть, чтобы скомпоновать ее иначе. Теперь смерть в первой главе. Думаю сократить объем в два раза; однако сейчас все это немного пустое и отрывистое. Более того, здесь все, в общем-то, порыв и мелодия. Я только что убила миссис П. и не могу мчаться в Оксфорд. Суть в том, что маленькие сценки запутывают человека в точности, как в жизни; и нельзя мгновенно перестроиться на другое настроение. Мне кажется, что начало предельно реально. У меня есть хорошее оправдание для поэзии во второй части, если я сумею воспользоваться им. Довольно интересный эксперимент — если бы я могла видеть одно и то же с двух разных точек зрения. Все утро я провела за чтением «Воспоминаний» Арсена Гуссэ, оставленных вчера Клайвом. Книги — это бескрайнее море удовольствия! Я вошла и обнаружила заваленный книгами стол. Стала заглядывать в них и вдыхать их запах и не могла устоять, чтобы не утащить одну и не приняться за чтение. Полагаю, здесь я могла бы жить счастливо и читать, читать.

Суббота, 2 сентября

Неожиданно, вечером, мне пришло в голову название «Здесь и сейчас» для «Паргитеров». Кажется, оно лучше. По нему ясно, чего я хочу, и оно не напоминает Сагу о Герри*, Сагу о Форсайтах и прочие саги. Только что дописала первую часть; то есть ужала ее; надо еще ужать день Элеоноры, а что потом? Остальное не требует особого сокращения. Думаю, осталось 80 000 слов, но, наверное, к ним прибавятся еще 40 000. Восемьдесят плюс сорок равно ста двадцати тысячам. Если так, то это будет самый крупный из моих малышей — полагаю, больше «Ночи и дня».

Вторник, 26 сентября

Почему бы в ближайшее время не написать фантазию на тему Крабба? — биографическую фантазию — эксперимент в жанре биографии.

Мне всерьез хотелось писать тут — диалог души с душой, — и это ускользнуло от меня — почему? Потому что я кормила золотых рыбок, любовалась новым прудом, играла в шары. Ничего уже не остается. Я забываю, как это было. Счастье. Вчера был замечательный день. И так далее. Сегодня я начала день с телефона; звонила в «Н. С.»**: поправки к «Двенадцатой ночи»: здесь вставить запятую, там снять точку с запятой и так далее. Потом пришла сюда, увидела карпа и пишу о Тургеневе.

Понедельник, 2 октября

Уже октябрь; завтра мы должны ехать на конференцию в Гастингс, а в среду к Вите, потом опять в Лондон. Открыла дневник, чтобы написать очередное предостережение себе перед выходом в свет книги. «Флаш» ожидается в четверг, и я думаю, что меня очень огорчат похвалы. Будут говорить, что книга «очаровательная», грациозная, женственная. Она станет популярной. Мне надо, чтобы это все миновало, по возможности не задев меня. Пора сконцентрироваться на «Паргитерах» — или на «Здесь и сейчас». Ни в коем случае нельзя допускать мысль, что я всего лишь дама-лепетунья: ведь это сушая неправда. Однако

* Роман «Хроники Герриса» Хью Уолпола (Прим. переводчика).

** «Нью Стейтсмен».

говорить будут именно так. И я возненавижу сам успех «Флаша». Нет, надо сказать себе, это просто клочок бумаги, водная завеса; и сочинять, неистово, без устали, потому что я еще никогда не ощущала в себе столько сил.

Воскресенье, 29 октября

Нет, я слишком устала, чтобы продолжать с Бобби и Эльвирой — они встретятся в соборе Святого Павла — сегодня утром. Жаль, не могу представить эту сцену цельной, спокойной и подсознательной. Последнее очень трудно из-за «Флаша», из-за бесконечных рецензий, которые не дают мне спать. Вчера в «Гранта» заявили, что я умерла. «Орландо», «Волны», «Флаш» говорят о смерти потенциально великой писательницы. Это лишь одна капля, я хочу сказать, одна гадость, наподобие тех, что так любят школьники, например подсунуть лягушку в постель; но ведь есть еще куча писем и просьб прислать фотографию — их так много, что, наверное, глупо, но я написала саркастическое письмо в «Н. С.» — теперь будет еще больше капель. Эта метафора доказывает, насколько важно подсознание, когда человек пишет. Но позвольте напомнить, что мода в литературе вещь неизбежная; что человек растет и меняется; что я, наконец, привержена философии анонимности. Мое письмо в «Н. С.» — грубое публичное утверждение одного из ее положений. До чего же ни на что не похожим было открытие, совершенное мною прошлой зимой! свобода; и теперь мне совсем не трудно отказываться от приглашений Сибил* и принимать жизнь решительно и твердо. Я не буду «знаменитой», «великой». Я хочу рисковать, меняться, копаться в своих мыслях и удивляться увиденному и не желаю быть проштемпелеванной и похожей на других. Суть в том, чтобы добыть себе свободу; определить себя, но не ограничить. И хотя это, как всегда, лишь попытка «на авось», заложено в ней много всего. Октябрь был плохим месяцем; но мог бы быть еще хуже, если бы не моя философия.

Четверг, 7 декабря

Проходила по Лестер-сквер — очень далеко от Китая — как раз теперь я читаю «Смерть знаменитого соавтора» в газетах.

* Леди Коулфакс.

И думала о Хью Уолполе. Но это Стелла Бенсон. Наверное, не стоит писать по горячим следам, не дав себе времени подумать? Я плохо знакома с нею; но мне представляются прекрасные покорные глаза; слабый голос; кашель; ощущение придавленности. В Родмелле она сидела со мной на террасе. И вот так быстро закончилось то, что могло стать дружбой. Доверчивая, кроткая, очень искренняя — так я думаю о ней; пытаюсь забраться поглубже, в один из трудных вечеров, оставив поверхностный слой, — конечно, нам удалось бы, если бы предоставилась такая возможность. Я рада, что остановила ее, когда она открыла дверцу и уже садилась в свою маленькую машину, и что попросила ее называть меня Вирджинией — писать мне. И она сказала: «Лучше ничего и быть не может». Словно погас свет — ее смерть в Китае; а я сижу тут и пишу о ней, так расплывчато и все же правдиво; больше ничего не будет. День стал траурным, когда в Кингсуэй пришли повозки (?) с газетами; «Смерть знаменитой писательницы» на первой странице. Прекрасный твердый ум, пережитые страдания, подчинение — возможно, ее смерть — укор мне, как смерть К. М.* Я продолжаю; а их уже нет. Почему? Почему не мое имя у всех на виду? Во мне поднимается протест: они ушли, не закончив свою работу, — и обе неожиданно. Стелле был всего сорок один год. «Я пришлю вам свою книгу», и так далее. Отвратительный остров, на котором она жила, общаясь с полковниками. Странное чувство, когда умирает такая писательница, как С. Б., любые слова кажутся недостойными: роман «Здесь и сейчас» не будет освещен ею; его жизнь стала короче. Мое излияние, — то, что послала в мир — менее пористое и блестящее, — как будто мысленная материя, паутина, удобренная (ее) мыслями других людей — теперь лишилось жизни.

Воскресенье, 17 декабря

Вчера закончила четвертую часть «Здесь и сейчас», поэтому сегодня у меня созерцательное утро. Чтобы освежить память о войне, читаю старые дневники.

* Кэтрин Мэнсфильд.

Вторник, 16 января

Все это время — три недели в Монкс — пролетело незаметно, потому что я была божественно счастлива и переполнена идеями — еще один поток «Паргитеров», или «Здесь и сейчас» (странно, в письме Голди напоминает, что «Волны» тоже здесь и сейчас, — я забыла). Итак, я не написала ни слова прощания с годом; ни слова о Кейнсе и Джоунсе; ни слова о прогулках в горах, хотя никогда прежде я не заходила так далеко; ни слова о чтении. Наслаждаюсь вечером и обычными безделицами.

Воскресенье, 18 февраля

Сегодня утром, в воскресенье, опять начала «Здесь и сейчас» с того места, на котором остановилась три недели назад из-за головной боли. Я отмечаю, что самое правильное — отдыхать от двух до трех недель. Тогда ничего не тускнеет, как после шести недель: я все еще держу роман в голове и знаю, что надо изменить. Я убрала — разговор во время нападения — тогда торопилась пройти это место; теперь мне нужно собраться, войти в нужное настроение и начать снова. Мне хочется создать вокруг себя волшебный мир и шесть недель прожить в нем интенсивно и спокойно. Трудность обычная — как пригнать друг к другу два мира. Наскоком тут ничего не сделаешь: надо комбинировать.

Вторник, 17 апреля

Вчера вечером я чувствовала себя измученной, потому что не смогла прибавить ни слова к моему «Сиккертю» и не смогла сделать набросок последней главы «Здесь и сейчас». Высокая цена за торопливый обед вне дома; потом «Макбет»; потом Додо Макнотен, потом сэр Фред Поллок — на сцене «Сэдлерс Уэллс»*.

Идея касается Шекспира.

Пьеса требует выхода на поверхность — отсюда та настойчивая реальность, которой роману не требуется, но с которой он контактирует на поверхности, подходя к вершине. Так я работаю над теорией разных уровней и способами их соединения; ибо начинаю думать, что соединение необходимо. В особенности взаимоотношение с верхним слоем — неизбежно для драматурга: насколько это влияло на Шекспира? Есть идея. Можно выработать теорию художественной литературы, и так далее, основываясь на том, сколько уровней затрагивает писатель и как их соединяет, если соединяет.

Среда, 9 мая

Сегодня девятое мая, последний и замечательный день. Итак, мы побывали в Варвикшире — но я читала «Монолог» и отмечаю странное воздействие чужого стиля — лучшего; густая трава, густая листва, приземистые желтые каменные дома и великолепие немногих елизаветинских коттеджей. Все это совершенно естественно привело нас в Стратфорд-он-Эйвоне; и будь прокляты все краболовы — это великолепный, не застенчивый, не однообразный город, мирно сосуществующий с восемнадцатым веком и всеми остальными веками. Все цветы были в Шекспировском саду. «Сюда выходили окна его кабинета, когда он писал “Бурю”», — сказал незнакомец. Возможно, так оно и было. В конце концов, это большой дом, глядящий прямо на огромные окна и серые каменные стены школьной часовни, а потом стали бить часы, которые, вероятно, слышал Шекспир. Я не могу, не напрягая свой еще не отошедший от дороги разум, описать странное ощущение солнечной беспристрастности. Да, там все, казалось, говорило — это принадлежало Шекспиру, тут он сидел, тут гулял; но вам не найти его, по крайней мере, во плоти. Он и отсутствует — и присутствует; и то и другое сразу; освещая все вокруг; да; цветы; старый дом; сад; но поймать его невозможно. Мы отправились в церковь, и там был этот дурацкий помпезный бюст, но, на что я не рассчитывала, там бы-

* Один из старейших лондонских театров, предоставляющий сцену танцам от фламенко до балета, а также опере. В этом театре также ставились пьесы Шекспира.

ла простая стертая плита, положенная неправильно, «Добрый Друг, воздержись во имя Иисуса» — вновь он показался мне воздухом и улыбающимся солнцем; в футе от меня лежали кости, которые распространяют свой свет на весь мир. Мы обошли церковь кругом, и все было просто и слегка стерто; река протекала сразу за каменной стеной, отсвечивая красным цветом из-за какого-то цветущего дерева, дерн там нетронутый, мягкий, зеленый, мокрый и плавают два невесты откуда взявшихся бесстрастных лебедя. Церковь, школа и дом вместительные и просторные, там хорошая слышимость, и сегодня солнечно, входят-выходят...* да, впечатляющее место; все еще живое, и косточки лежат там, которые создали; подумать только, он писал «Бюрю» и смотрел в сад; какая ярость, какой шторм бушевал в его голове; вне всяких сомнений, стабильность этого места была ему на пользу. Уж точно, он безмятежно глядел на подвалы. Несколько надушенных американочек и довольно много попугаячьего лепета из граммофона там, где он родился; один пересказывает что-то другому. Но это не удивительно. Смотровитель признал, что известна лишь одна подлинная подпись Шекспира; а все остальное, книги, мебель, картины и так далее, исчезло? Сейчас я думаю, что Шекспиру очень посчастливилось, ему не мешала слава, его гений покинул оболочку и все еще находится в Стратфорде. В театре, насколько я помню, играли «Как вам это понравится».

Тупицы-биографы не могут извлечь ни запаха, ни мелодии из Нового Места. Мне кажется, я смогла бы. Тот же смотритель сказал нам, что после смерти правнучки устроили распродажу, так почему бы некоторым вещам не потеряться, как он сказал, не попрятаться, а потом не выйти на свет Божий? Вот и королева Мария, супруга Карла I, побывала тут, в Новом Месте, с внучкой (?), что показывает, как все реально. То, о чем он рассказал нам, мне было неизвестно. И он сказал, Гаскелл, священник, жил в своем доме по другую сторону сада, который доходит почти до самой церкви, но его снесли, так как люди все время заходили и просили показать дом Шекспира. А здесь (между окном и стеной) была комната, в которой он умер. Теперешняя шелковица как будто побег от той, что рос-

* Слово неразборчивое.

ла под окном Шекспира. В саду, который открыт для всех, большие клумбы синих, желтых, белых цветов; там гуляют и отдыхают живые люди.

Пятница, 18 мая

Я сорвалась, заложив ирландские документы в старую книгу, почувствовала как будто, что дрожу. Иначе и быть не могло, сказала я себе, после отдыха; но это была — инфлюэнца. Пришлось забыть обо всех идеях — о «Паргитерах», о великолепном трудном финале книги: все вытеснила лихорадка; неделю назад я оказалась в постели, а на Троицын день мы отправились в Монкс. Самое удивительное, что я пишу это золотым «вотерманом», и у меня есть идеи, как заменить им стальной «вулворт». День солнечный, роскошный. Птицы пиликают в гнездах, полагаю, и каркают на деревьях, а по утрам пораньше оглашают окрестности долгими песнями, которые я слушаю в постели. Мне слышно, как Л. с Перси ходят по саду. Покой и комфорт, благодаря отсутствию Нелли, которую заменила молчаливая и бескорыстная Мэйбел. Кстати, мы обходимся без прислуги; мы свободны, безмятежны, ах, какое блаженство! Итак, если у меня получится вытащить голову из трясины, то во вторник вернусь к трехмесячному погружению. Но еще день-два отдохну. Какой же я стала бесконечно скромной, и разочарованной, и неамбициозной — все из-за инфлюэнцы. Не могу поверить, что кто-то придет навестить меня, не говоря уж о том, что я буду в состоянии нацарапать хотя бы дюжину слов. Но самоуверенность, размышления, благословенные иллюзии, благодаря которым мы живем, возвращаются; очень постепенно. Прозрачная ясность — первая стадия, и я не собираюсь прерывать ее писанием.

Вторник, 22 мая

Наконец-то сегодня, то есть во вторник, после того как я отчаянно старалась зажечь спичку — ох, я была переполнена непреклонностью и пустотой — загорелся огонек. Возможно, я выдохлась. Я о том, как дьявольски трудно начать седьмую часть после инфлюэнцы. Эльвира и Джордж, или Джон, разговаривают в ее комнате. Нас все еще разделяют многие мили, но мне показалось, что сегодня утром я нашла правильный тон. Эту запись я делаю из предостережения себе. Сейчас очень важно не торо-

питься; постоять немного; не гнать; полежать, чтобы тихий подсознательный мир заполнился людьми; нельзя, чтобы с губ у меня падала пена. Нет никакой спешки. У меня достаточно денег до конца года. Пусть книга выйдет в июне следующего года, время еще есть. Последние главы должны быть богатыми, итоговыми, все соединяющими, поэтому каждое утро я мысленно просматриваю всю книгу. Нет больше нужды мчаться вперед, поскольку повествовательная часть закончена. Остается сделать ее побогаче и постабильнее. Последняя глава должна быть эквивалентной первой книге по продолжительности, важности и емкости; и должна, если уж на то пошло, показать другую сторону, затопленную. Полагаю, я не буду ее перечитывать; подведу итог — чай, смерть, Оксфорд и так далее — по памяти. В целом книга зависит от того, как это все сцепится друг с другом, я должна много отдыхать, быть терпеливой, ухаживать за своей несколько скрипучей головой и вовремя баловать ее французами.

Понедельник, 11 июня

Эта обнадеживающая страница читается сейчас как слишком легковесная, поскольку все началось опять, и в пятницу меня снова затрясло, мне было больно пошевелиться, когда я разговаривала с Элизабет Боуэн; 101; постель; инфлюэнца; так целую неделю до воскресенья, если быть точной; а потом Родмелл; там я снова взялась за главу, и на меня неожиданно посыпались идеи, а потом была опера, соловей пел на падубе, Кристabelle* и мистер Олаф Гамбро рассказывали о Королеве и Принце; очень жаркий концерт вчера, так что я не могу, нет, не могу писать сегодня. Терпение, как говаривал Карлейль (на итальянском). Но только представить — вся система настроена на конец, и всего лишь одно легкое движение, одна поздняя вечеринка, один слишком напряженный день — и нет порыва, нет мыслей. А как ясно все виделось; очень замысловатые сцены; сплошные контрасты; строительство; подождем до завтра.

Понедельник, 18 июня

Очень, очень жарко: день изменился, так что я выходила после чая. Засуха во всем мире. Слава богу, пошла работа над «Здесь и сейчас». Все же я пока очень осторожна; только что написала

* Леди Аберконвей.

сцену Рэя и Мэгги; знак того, что я что-то могу, но мне еще надо подготовиться к французскому, так как Жани придет в пять.

Пятница, 27 июля

Ух — наконец-то покончив с этим совершенно ужасным днем, с Вортингом* и мистером Фиарсом, целый час представлявшим после обеда лейбористскую партию, я свободна и могу начать последнюю главу; благословенное Провидение не осуществило колодец, идеи поднимаются во множестве, и если они останутся такими же разными, вольными и сильными, то у меня будут два месяца полного погружения в них. Странно, как творческая сила неожиданно вносит порядок во Вселенную. Я вижу день целиком в нужных пропорциях — даже после долгой вибрации мозга, какая у меня была утром, наверное, это физическая, нравственная, интеллектуальная необходимость, которая заводит мотор. Ужасно ветреный и жаркий день — неистовый ветер в саду; все июльские яблоки на земле. Я собираюсь позволить себе удовольствие и сотворить серию быстрых точных контрастов, по обыкновению разбивая свои заготовки, насколько возможно. Хочу экспериментировать. Сейчас, к сожалению, не могу писать в дневнике, не могу писать письма, не могу читать, потому что я вся в работе. Наверное, Боб Т.** был прав в своем стихотворении, когда назвал меня удачливой, — я хочу сказать, у меня есть разум, который может выразить нечто, — нет, я хочу сказать, что я могу мобилизовать себя, — я научилась выкладываться полностью — я хочу сказать, что я до какой-то степени заставляю себя ломать форму и находить новую форму существования, то есть выражение того, что я чувствую или думаю. Итак, когда это работает, у меня есть ощущение максимума энергии — ничто не останавливается. Но это требует постоянного усилия, возбуждения и порыва. В «Здесь и сейчас» я разбиваю форму «Волн».

Четверг, 2 августа

Меня расстроили последние главы. Неужели все остальное так же визгливо и многословно? Они слишком длинные, и все

* Город. Вероятно, здесь он ассоциируется с лейбористами (Прим. переводчика).

** Р.К. Тревельян.

время приливы и отливы изобретательности. За божественно счастливым днем следует несчастливый.

Понедельник, 7 августа

Довольно дождливый Банковский выходной. Чай с Кейнсом. Мэйнард без зубов, но очень изобилен. Например: Да, я был три недели в Америке. Невыносимый климат. В нем как будто собрали недостатки всех климатов. И это подтверждает мою теорию климата. В Америке никто не может создать ничего великого. Весь день потеешь, а потом тебе в лицо летит всякая мразь. Ночи такие же жаркие, как дни. Никто не спит. Из-за климата все целый день на бегу. Я привык с ходу диктовать статьи. И чувствовал себя отлично до самого отъезда. «Итак, о политике Германии». Они делают что-то странное со своими деньгами. Пока я не понимаю. Возможно, евреи вывозят свой капитал. Представьте, если 2000 евреев вывезут по 2000 фунтов каждый — в любом случае они не смогут оплатить ланкаширский счет. Немцы всегда покупали хлопок в Египте, но пряли его в Ланкашире; счет невелик, всего полмиллиона, но заплатить якобы нечем. Но они постоянно покупают медь. Зачем? Несомненно, для оружия. Это один из классических примеров международной торговли. 20 000 безработных. Конечно же, что-то за этим кроется. Какова причина финансового кризиса? Они делают нечто несуразное. Никакого государственного контроля за военными.

(А я все время думала, чем закончить «Здесь и сейчас». Мне нужен хор, общее утверждение, песня для четырех голосов. Что делать? Я уже почти добралась до конца в своей гонке; повествование становится все более и более драматичным. Как перейти от разговоров к поэзии, от частного к общему?)

Пятница, 17 августа

Итак, полагаю, благодаря неожиданным бессонным ночам, или, скорее, ранним утрам, мне кажется, я вижу финал «Здесь и сейчас» (или «Музыки», или «Зари», или как бы это ни называлось): заканчивается тем, что Эльвира выходит из дома и говорит: Зачем я завязала узелок на носовом платке? а вокруг катятся монеты...*

* Предложение не закончено.

Будут сплошные разговоры — никакой игры. Я уже набросала, что каждый скажет; и закончится это ужином в нижней комнате. Думаю, с самой трудоемкой частью покончено. Похоже, получается 850 моих страниц, то есть 200 обычных, и 170 000 слов, из которых останется 130 000.

Вторник, 21 августа

Урок, выведенный из «Здесь и сейчас», заключается в том, что в пределах одной книги надо пользоваться всеми «формами». Поэтому следующими, не исключено, будут поэма, реальность, комедия, пьеса; повествование, психология — все в одном. И очень коротко. Надо подумать, пьеса о Парнеллах или биография миссис П.

Четверг, 30 августа

Если я не в состоянии даже писать дневник, потому что занята последними сценами, то как я могу читать Данте? Невозможно. Три дня напряженной работы, и теперь я вновь, кажется, погружаюсь в нее. Сегодня к чаю придет Робсон, а Вулфы — завтра; и... еще одна неудача с речью Эльвиры... «Знаешь, что у меня было в кулаке весь вечер? Монеты».

Как бы то ни было, мне хватает материала, чтобы продолжать главу; скажем, еще две-три недели. Вчера я нашла новую дорогу для прогулок, новую ферму между Ашемом и Тарринг-Невиллом. Очень красиво, совершенно безлюдно, позади поднимается гора. Возвращалась по берегу злой глубокой полноводной реки серого цвета. Выглянул дельфин и нырнул обратно. Пошел дождь. Уродство скрылось за ним. Пейзаж словно восемнадцатого века, к счастью, помог мне меньше думать об Уилмингтоне.

После чая настоящая буря с градом; как белый лед; ледяные кусочки; пронзают, бьют; бичуют землю. Такое уже было несколько раз; черные тучи, пока мы играли Брамса. За все лето ни одного письма. Думаю, в будущем году их будет много. Мне все равно; день, я имею в виду вчерашний день, был очень славным: писала; гуляла; читала, Лисон, ... Сен-Симон, предисловие Генри Джеймса к «Портрету дамы» — очень умное, ... но пара мыслей мне известна; потом «Дневник» Жида, полный удивительных воспоминаний, — многое я тоже могла бы сказать.

Воскресенье, 2 сентября

Не помню, чтобы я когда-нибудь так волновалась из-за книги, как теперь, когда пишу конец — «Зари». Неужели слишком напыщенно, сентиментально? Я писала, как — забыла слово — вчера; у меня горели щеки; дрожали руки. Сочиняю сцену, когда Пегги слышит их разговор и взрывается. Меня это тоже взбудоражило. Наверное, даже слишком. Никак не могу найти естественный переход к речи Эльвиры.

Среда, 12 сентября

В воскресенье умер Роджер*. Завтра мы отправимся, следуя какому-то инстинкту, на похороны. Я как в тумане; будто окостенела. Женщины плачут, Л. говорит: но я не знаю, почему я плачу — в основном вместе с Нессой. И я совсем поглупела, чтобы что-нибудь писать. Голова отупевшая. Думаю, нищета жизни — это то, что сейчас пришло ко мне; и черная вуаль на всем. Очень жарко; дует ветер. Ни в чем нет смысла. Не думаю, что это преувеличение. Надеюсь, все вернется. В самом деле, у меня время от времени появляется огромное желание жить, видеть людей, сочинять, правда, сейчас мне трудно сделать над собой усилие. И я не могу написать Хелен**, нет, надо закрыть тетрадь и взяться за письмо.

Мопассан о писателях (думаю, он прав): «En lui aucun sentiment simple n'existe plus. Tout ce qu'il voit, ses joies, ses plaisirs, ses souffrances, ses désespoirs, deviennent instantanément des sujets d'observation. Il analyse malgré tout, malgré lui, sans fin, les coers, les visages, les gestes, les intonations»***.

Вспоминаю, как я отвернулась, стоя у постели матери, когда она умерла и Стелла**** потихоньку привела нас посмеяться над тем, как плачет няня. Она притворяется, сказала я, мне было тогда тринадцать, и я испугалась, что почти ничего не чувствую. Вот так.

* Роджер Фрай.

** Хелен Анреп.

*** «Он больше не знает обыкновенных чувств. Все его переживания, его радости, его удовольствия, его страдание, его отчаяние немедленно становятся предметом наблюдения. Несмотря ни на что, против собственной воли он постоянно анализирует сердца, лица, жесты, интонацию» (фр.).

**** Стелла Дакворт, сводная сестра В. Вулф.

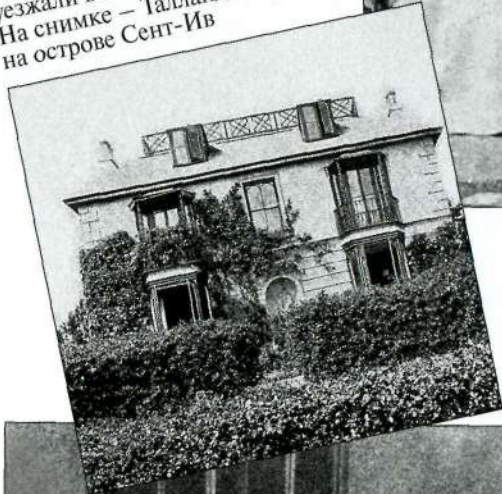
Мой 20
век



Родители Аделины
Вирджинии Стивен,
будущей писательницы
Вирджинии Вулф,—
Джулия Дакуорт
и Лесли Стивен



Летом Стивены всей семьей
уезжали в Корнуолл.
На снимке — Талланд-хауз
на острове Сент-Ив



Джулия Стивен
с детьми



Вирджиния с братом Адрианом
играют в крокет

Ванесса, сестра Вирджинии, с юности
любила рисовать, а, повзрослев, стала
талантливой художницей.
Портрет сестры

С Ванессой и братом Тоби



Вирджиния не училась в школе, но пристрастилась к чтению с детства — в библиотеке отца она погружалась в таинственный и прекрасный мир книг

Джона Донна



Томаса Гарди

Уильяма Мейкписа Теккерея

В гостях у Стивенсов — писатель Генри Джеймс

Карикатура на писателя, публициста, критика Арнольда Беннета



В кругу друзей



В 1904 году после смерти отца Вирджиния, Ванесса, Адриан и Тоби переехали в Блумсбери, один из красивейших районов Лондона. Несколько лет спустя, там возникла знаменитая группа «блумсберийцев», пионеров нового искусства, вдохновителем которой стала Вирджиния Вулф



В 1912 году Вирджиния вышла замуж за критика Леонарда Вулфа

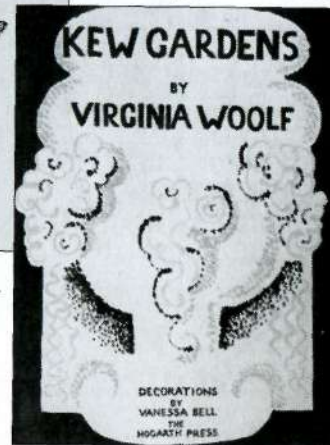
THE HOGARTH PRESS
27 TAVISTOCK SQUARE, LONDON, W.C.1.



AUTUMN ANNOUNCEMENTS
1924

Лондон. Стрэнд — такой эта улица была в 1923 году, когда по ней гуляла Кларисса Дэллоуэй

«Хогарт-пресс» — маленькое издательство, созданное Вулфами, где появился на свет первый сборник рассказов Вирджинии — «Пятно на стене». Все свои книги она издавала в «Хогарт-пресс». Обложки книг Вирджинии Вулф, нарисованные ее сестрой Ванессой Белл, — «Кью-гарденз» и «Миссис Дэллоуэй»



Английскую классическую литературу прославило творчество многих талантливых писательниц, чьи традиции продолжала — но чаще «преодолевала» — Вирджиния Вулф

Шарлота Бронте



Элизабет Гаскелл



Эмилия Бронте

Джордж Элиот



Элизабет Браунинг, героиня повести Вирджинии Вулф «Флаш»



Кэтрин Мэнсфильд, близкая подруга Вирджинии Вулф



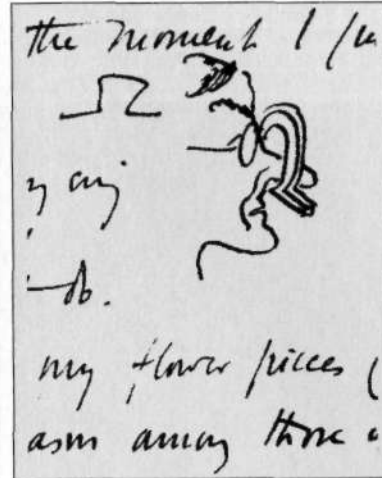
«Блумсберийцы» — супруги Вулф, писатель Э.М.Фостер, критик Д.Л. Стрэчи, художник Дэниель Грант, искусствовед Роджер Фрай, Ванесса и Клайв Белл часто бывали на вилле Карлстон в графстве Сассекс



Клайв Белл с дочерью Анжеликой, Стивен Томлин и Литтон Стрэчи



Роджер Фрай был близким другом Вирджинии Вулф. Автопортрет Фрая и шарж на самого себя



Томас Стернз Элиот. Его поэтический талант и широчайшие познания неизменно вызывали в Вирджинии восхищение. Портрет работы В.Льюиса

Вирджиния Вулф и Литтон Стрэчи на катке. Карикатура Доры Каррингтон



«Орландо» — повествование о странном преображении героя из юноши в девушку, о его путешествии во времени



Фрагмент картины, на которой изображен Орландо, сын четвертого герцога Дорсетского

ORLANDO

A BIOGRAPHY

VIRGINIA WOOLF

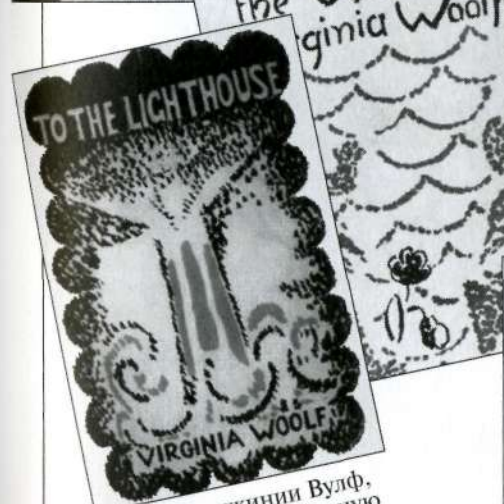


THE HOGARTH PRESS, 51 TAVISTOCK SQUARE, W.C.1

Прототип Орландо — Сэквилл Вест

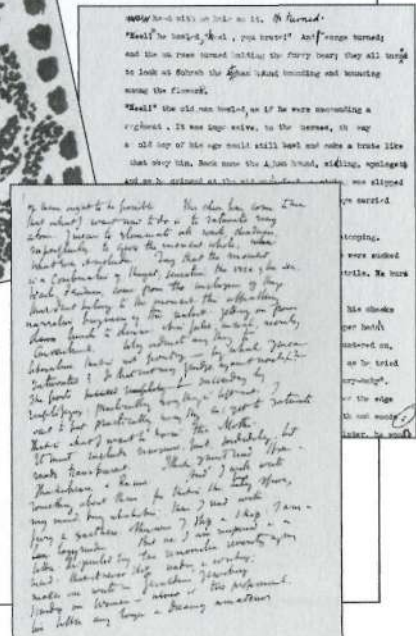


В Монкс-хауз графства Сассекс супруги Вулф жили летом с 1919 года. Когда в 1941 году в их лондонский дом попала бомба, Монкс-хауз стал их единственным приютом



Книги Вирджинии Вулф, принесшие ей всемирную славу: «На маяк», «Волны»

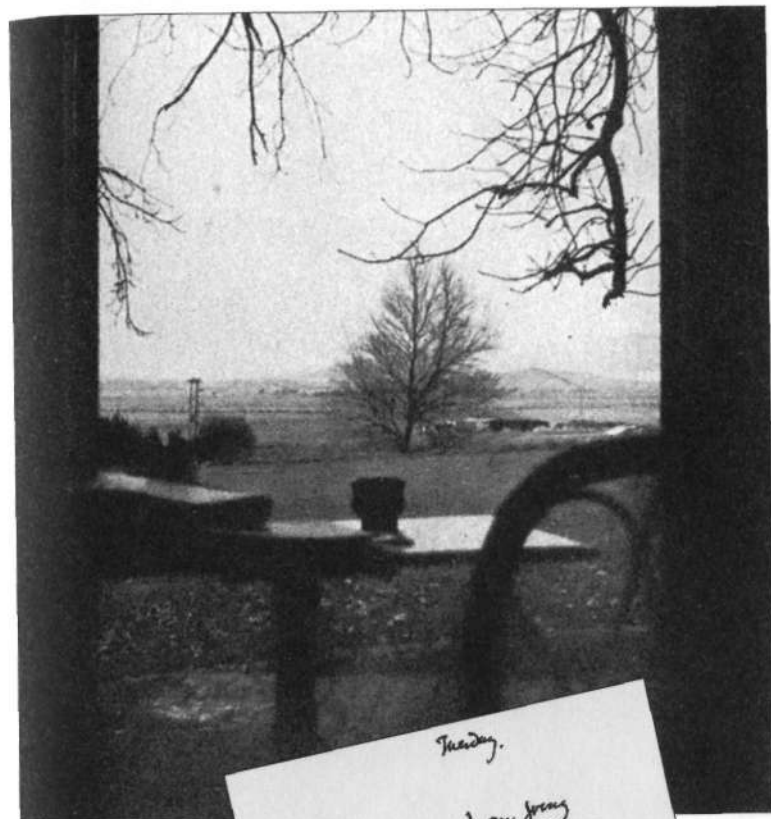
Черновик последнего романа «Между актами»



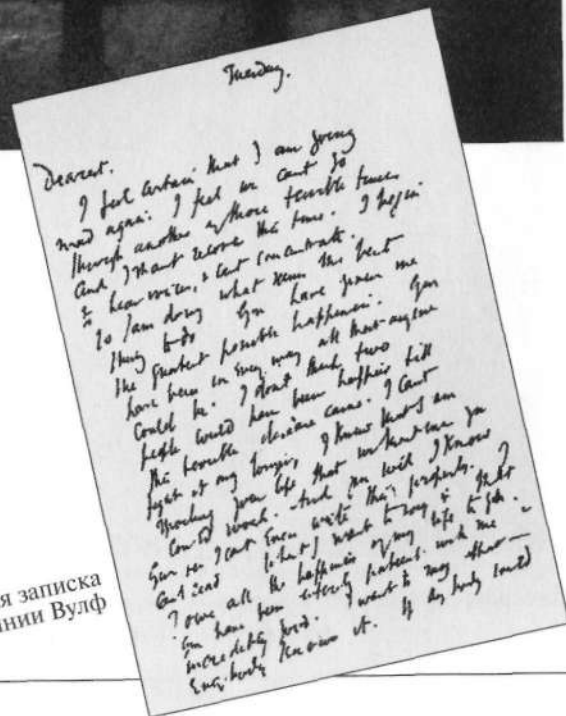
Они прожили вместе почти тридцать лет. После ее гибели Леонард собрал бесчисленные тетрадки, в которых она вела свои дневники, и подготовил их к печати



Первое издание «Дневника писательницы», вышедшее в 1953 году



Вид из окна кабинета в Монке-хауз. Здесь были написаны ее многие шедевры



Предсмертная записка Вирджинии Вулф



Темперамент писателя.

Sur l'eau 116

«Ne jamais souffrir, penser, aimer, sentir, comme tout le monde, bonnement, franchement, simplement, sans s'analyser soi-même après chaque joie et après chaque sanglot»**.

Суббота, 15 сентября

Я рада, что мы пошли в четверг на службу. День был пол-летнему жаркий. Все оказалось очень просто и достойно. Музыка. Никто не произнес ни слова. Мы сидели перед открытыми дверьми в сад. Цветы и прогуливающиеся люди; Роджеру это понравилось бы. Он лежал, укрытый старой красной парчой с двумя полосами разных и ярких цветов. Это очень сильный инстинкт быть рядом со своими друзьями. Я думала о нем в перерывах. Достойный, честный, большой — «большая нежная душа» — что-то музыкальное и зрелое о нем — потом смешное и факт, что он жил разнообразно, щедро и с любопытством. Я думала об этом.

Вторник, 18 сентября

Мне нравится писать сегодня утром, потому что это снимает напряжение с губ. Холодный скучный день после такого сверкания. Сейчас у нас Грэхем и миссис В., а потом покой: и конец книги? Ах, если бы так! Но мне кажется, до этого еще десять миль — далеко — если честно, я очень устала.

Я подумала, будто смогу описать потрясающее чувство, испытанное мною на похоронах Р.; но, конечно же, я не могу. Я имела в виду универсальное чувство; как мы все боремся с нашими мозгами, любовями и всем прочим; и должны побеждать. А потом победитель, то есть внешняя сила, становится очевидной; безразличной, а мы — такими маленькими, нежными, хрупкими. И ко мне пришел страх смерти. Естественно, я тоже лягу тут перед дверьми и соскользну вниз; это испугало меня. Но почему? Я хочу сказать, что почувствовала, как на этом фо-

* «На воде» (1888) — книга Ги де Мопассана.

** Никогда не страдать, не думать, не любить, не чувствовать, подобно всем, простосердечно, искренне, незамысловато, не занимаясь самоанализом после каждой радости и каждого рыдания (*фр.*).

не нужны ни вечная борьба, ни мозги, ни любовь друг к другу; если Роджер смог умереть.

А потом, на другой день, и сегодня, во вторник, неделей позже, началось совсем другое — экзальтированное ощущение, будто я над временем и над смертью, и оно явилось, потому что я вновь могу писать. И это не иллюзия, насколько я понимаю. Конечно же, у меня твердое убеждение, что Роджер был бы на моей стороне, но, что бы ни делала невидимая сила, мы сами по себе. Получила чудесное письмо от Хелен. Сегодня мы отправляемся в Вортинг...*

Воскресенье, 30 сентября

Последние слова безымянной книги были написаны десять минут назад, в общем-то спокойно. 900 страниц. Л. говорит, что это 200 000 слов. Боже мой, сколько предстоит переделок! И все же такое блаженство поставить последнюю точку в последней фразе, даже если многие из фраз будут вымараны. Как бы то ни было, остов есть. На него ушло немного меньше двух лет; на несколько месяцев меньше, так как вмешался «Флаш»; следовательно, эта книга была написана быстрее, чем все остальные. Изобразительная часть писалась особенно быстро. И должна сказать — или я всегда это говорю? — с большим воодушевлением; но не совсем прежнего свойства. Ибо я была менее самоуглублена, чем обычно. Никаких «красивостей»; диалог намного проще; но большое напряжение, потому что одновременно надо было держать в голове много мелких ответвлений, но чтобы ни одно из них не давило на остальные. В конце ни слез, ни возбуждения; но, надеюсь, мир и простор. Так или иначе, если я умру завтра, строчка уже есть. И я свободна; переписывать начну завтра. Впрочем, это не совсем свобода, ибо надо продолжать «творить». Здесь есть напряжение — это новое; но я подозреваю, что последние двадцать страниц немного провисли. Придется еще сводить концы с концами. Но у меня нет идеи, как все...**

Вторник, 2 октября

Все правильно, но моя голова никогда не даст мне торжествовать по-настоящему; всегда уложит меня в постель. Вчера утром

* Предложение не закончено.

** Предложение не закончено.

появились знакомые искры, а потом острая, очень острая боль в глазах; так что мне пришлось сесть, а потом и пролежать до самого чая; не гуляла; не думала ни о победе, ни об освобождении. Л. купил мне маленькую походную чернильницу, чтобы поздравить меня. Жаль, не могу думать о названии. «Сыновья и дочери»? Кажется, уже было. Как много нужно еще сделать в последней главе, что я, надеюсь, d. v.*, как говорят в некоторых кругах, надеюсь все же, что начну завтра, пока замазка еще мягкая.

Итак, лето закончилось. До девятого сентября, когда Несса вышла на террасу — я слышу ее крик: «Он умер!» — было настоящее счастливое лето. Ох уж эта радость — гулять! Никогда еще не ощущала ее так сильно. Каупер Повис, как ни странно, говорит о том же самом, словно в трансе, плывешь, летишь в воздухе; поток чувств и мыслей; медленно сменяемая, незнакомая череда гор, дорог, цветов; все это соединяется в великолепную тончайшую завесу совершенного мирного счастья. Правда, я часто живописала на завесе яркие картины и громко разговаривала. Господи, до чего же много страниц в «Сыновьях и дочерях» — возможно, «Дочери и сыновья» зададут совсем другой ритм, нежели «Сыновья и любовники»** или «Жены и дочери»*** — я сочиняла, произнося это с волнением на вершине холма или на его склоне. Слишком, увы, много домов; шли слухи, будто «Кристи» и «Рингмер Билдинг Компани» покупают ферму Боттена, чтобы что-то строить на ее месте. В воскресенье, когда я шла в Льюис, меня расстроили машины и виллы. Но я вновь обнаружила тайную фермерскую тропинку: Пиддингхоу; это было поразительное разнообразие и очарование — река то свинцовая, то серебристая; корабль — Лондонская служба — плыл по ней; мост. Грибы и сад вечером; луна, как глаз умирающего дельфина; или как апельсин-королек в полнолуние; или начищенная, как стальной кинжал; или лучистая; иногда словно бегущая по небу; иногда висящая между ветвей. Теперь, в октябре, стал опускаться густой мокрый туман, который становится все гуще и непроницаемее. В воскресенье у нас были Банни**** и Джулиан.

* Deo Valence (лат.) — так пожелал Господь.

** Роман Д.Г.Лоуренса.

*** Незаконченный роман (1866 г.) Элизабет Гаскелл.

**** Дэвид Гарнетт и Джулиан Белл.

Прочитанные или читаемые книги.

Шекспир: *Троил*
Перикл
Укрощение строптивой
Цимбелин

Мопассан }
де Виньи }
Сен-Симон }
Жид }
Библиотечные книги:

лишь
кусками
Повис
Уэллс
леди Брук
Проза. Добре
Элис Джеймс

Много рукописей — ничего стоящего.

Четверг, 4 октября

На пруду разыгралась буря, и он весь покрыт маленькими белыми колючками; они то появляются, то исчезают; пруд выставил колючки, словно маленький дикобраз; щетина; черные волны; пересекают пруд; черные содрогания; маленькие водяные колючки — белые; суматошный дождь и ели; колючки то поднимаются, то опускаются; с одной стороны вода вышла из берега; листья лилий дергаются; плывет красный цветок; один лист колышется; потом все стихает на мгновение; потом начинается опять; колючки как стеклянные; и все время прыгают, вверх-вниз; быстрая тень. Светит солнце; все зеленое и красное; сияет; пруд серовато-зеленый; красные ягоды на живой изгороди; коровы очень белые; розовое небо над Ашемом.

Четверг, 11 октября

Короткая запись. Сегодня в «Lit. Sup» объявили книгу «Люди как они есть» Уиндхэма Льюиса: главы об Элиоте, Фолкнере, Хемингуэе, Вирджинии Вулф... Теперь я знаю наверняка, я чувствую, что это нападение на меня; что я публично растерзана; от меня ничего не осталось ни в Кембридже, ни в Оксфорде, ни где бы то ни было еще, где молодежь читает Уиндхэма Льюиса. Инстинкт подсказывает не читать, что написано обо мне. И вот по этой причине — ладно, открываю Китса и обнаруживаю:

«Похвала и ругань имеют лишь преходящее значение для человека, которого любовь к абстрактной красоте делает жестоким критиком своих трудов. Моя собственная домашняя критика доставляет мне такую боль, о какой даже не помышляют «Блэквуд» или «Квотерли»*... Но это всего лишь дань мгновению — я думаю, что, и умерев, останусь среди английских поэтов. Кстати, попытка раздавить меня, предпринятая Квотерли, лишь привлекла ко мне больше внимания».

Вот: думала ли я о том, останусь или не останусь среди английских романистов после смерти? Кажется, я не думала об этом. Почему же тогда мне не хочется читать У. Л.? Почему я так чувствительна? Полагаю, из-за тщеславия: мне не нравится мысль о том, что надо мной смеются: что А., Б., В. с удовольствием узнают о крушении В. В.: к тому же в будущем нападения станут сильнее; может быть, я не уверена в собственном даре; но и тогда я знаю больше, чем знает У. Л.; и в любом случае я собираюсь продолжать свою работу. Я сделаю вот что: тщательно подберу разные высказывания и через год, скажем, когда выйдет моя книга, прочитаю их. Я уже чувствую покой, который всегда снисходит на меня вместе с обидой; я прижалась спиной к стене; я пишу ради того, чтобы писать, и так далее; и, кстати, есть странное позорное удовольствие в обиде — в том, чтобы стать фигурой, мученицей и так далее.

Воскресенье, 14 октября

Беда в том, что я использовала на «Паргитеров» весь свой творческий потенциал до последней унции. Голова не болит (кроме того, что Элли называет типичной мигренью, — она пришла к Л., ему вчера было нехорошо). Я не могу вонзить шпору себе в бока. На самом деле я планировала романтическую главу, но не получается. Сегодня утром стрела У. Л. пронзила мне сердце: он потрясающе остроумно выставил на посмешище Б. и Б.**; меня назвал соглядатайшей, а не наблюдательницей; принципиальной ханжой; но одной из четырех или пяти живущих ныне (как мне показалось) настоящих художников. Вот зачем я собираю порочный материал. (Ах, меня недооценива-

* Периодические издания, в которых печатались рецензии.

** Мистер Беннетт и миссис Браун (Прим. переводчика).

ют! — говорит Эдит Ситвелл.) Ладно: этот комар прицелился и укусил; и, кажется (12.30), боль прошла. Да, как будто все. Вот только я не могу писать. Когда мой мозг оживет? Наверное, дней через десять. Но читать он может замечательно: вчера вечером взялась за «Времена года»... Итак, я хотела сказать, я рада, что мне не нужно, что я не в силах сейчас писать, ведь есть опасность ответить, когда на тебя нападают, — а это совершенно убийственная вещь. Я хочу сказать, убийственная для «Паргитеров», если принять во внимание его критику. И думается, мое открытие двухлетней давности поможет мне самым замечательным образом: рисковать, искать и не позволять себе негибкости; быть уступчивой по отношению к истине. Если в словах У. Л. есть правда, что ж, надо принять ее: не сомневаюсь, я ханжа и соглядатайша. Что ж, живите храбрее, но, ради Бога, не старайтесь меня склонить в ту или иную сторону. Все равно ничего не выйдет. К тому же есть странное удовольствие в обиде, и чувство, что тебя гонят во тьму, тоже приятно и полезно.

Вторник, 16 октября

Сегодня совсем вылечилась. Итак, болезнь под названием У. Л. длилась два дня. Помогли грубовато-добродушная любовь старушки Этель и вчерашнее волнение по поводу купленной блузки; а также глубокий послеобеденный сон.

Сегодня утром пишу.

Ужасно хочется спать. Это возраст? Не могу ничего поделать. И так мрачно на душе. Конец книги. Просматривала старые дневники — иначе зачем их хранить? — и нашла, что у меня было точно такое же состояние после написания романа «Волны» — после написания романа «На маяк». Помнится, в те дни я была куда ближе к самоубийству, серьезно, чем в любое другое время после 1913 года. И это, в конце концов, естественно. Три месяца я проскакала галопом — столь волнующим было для меня погружение в бумажный мир — ну же, режь все — после первого божественного восторга, естественно, остается ужасная пустота. Ничего нет от людей, от идей, от напряжения, от целой жизни, короче говоря, это не давало покоя моей голове, и не только голове; это занимало все мое свободное время; мысли о том, как я привычно и тихо сижу на рельсах, которые проходят по моей книге. Что ж, все равно ничего нельзя сделать еще недели две-три, а то и четыре, разве что баловать себя; стараться ни-

чего не видеть и ни о чем не думать. На сей раз из-за Роджера все сложнее, чем обычно. Вчера мы с Нессой вместе пили чай. Увы, его смерть еще хуже, чем смерть Литтона. Интересно, почему? Глухая стена. Тишина; ужасное оскудение. Это все он!

Понедельник, 29 октября

Читаю «Антигону»*. Какая до сих пор мощь в когда-то написанных словах — греческий язык; и чувства совсем другие, нежели пробуждают остальные языки. Я собираюсь читать Плотина; Геродота; Гомера.

Четверг, 1 ноября

Мысли, которые пришли мне в голову, когда я вчера вечером обедала с Клайвом; разговаривала с Олдосом** и издателем Кеннетом Кларком.

О жизни Роджера: должно быть написано разными людьми, чтобы показать разные периоды жизни.

Юность — Марджери***

Кембридж — Уэдд?

Начало жизни в Лондоне...

Клайв

Сиккерт

Блумсбери—Десмонд

В. В.

Поздний период — Джулиан

Блант

Хиард и так далее.

Мы с Десмондом это соединим. О романах: другой пласт бытия: верхний, нижний. Знакомая мысль, отчасти использованная в «Паргитерах». Но я думаю о том, чтобы описать это еще подробнее, в частности, в моей критической книге: показать, как разум естественно следует такому порядку в процессе размышления; как это иллюстрируется литературой.

Пора мне писать биографию и автобиографию.

* Трагедия Софокла.

** Олдос Хаксли.

*** Марджери Фрай.

Пятница, 2 ноября

Удалили два зуба с помощью новых обезболивающих лекарств; раз я пишу дневник, то ничего страшного. И у меня другая ручка. Мозги слегка замороженные, как десны. Зубы становятся похожими на старые корни и ломаются. Один сломался, а я почти ничего не почувствовала. Мои замороженные мозги думают об Олдосе и Кларках: отчасти о биографии; о статьях обо мне — о которых я не знаю — думают, что сейчас великолепный холодный день.

Я поднялась наверх пополоскать кровотокающую десну — кокаин действует полчаса; потом все начинается сначала — открываю «Спектейтор» и вновь читаю У. Л. о себе. Ответ Спендеру. «Я не злобствую. Миссис В. некоторые называют Фелицией Хеманс». Полагаю, он показал коготок; но тотчас вернул — «Не я это говорю — другие говорят». А на следующей странице — как же они высокомерны по отношению к Сиккерт; и вот.. Однако Л. считает, что можно пренебречь моим отпором. Правильно; но я, тем не менее, возражаю минут десять: я возражаю против выхода на свет, когда погружаюсь в мою густонаселенную неизвестность. Я должна выплыть сама. Не думаю, чтобы эта атака продлилась больше двух дней. Полагаю, к понедельнику все закончится. Но как же это скучно. И как много неожиданных выстрелов в пустоту. Однако — минутку. В худшем случае, даже если я незначительная писательница, писать я обожаю: и думаю, пишу честно. Поэтому жизнь и дальше будет дарить мне радость, которую я приму или не приму, но по собственному усмотрению. И еще: как мне уравновесить мнение У. Л. с мнением Йейтса — не говоря уж о Голди и Моргане? Чувствовали бы они что-нибудь ко мне, будь я такой незначительной? В два часа ночи у меня появилось великолепное ощущение силы (езды в темноте). У меня есть Л., есть книги; есть наша общая жизнь. И наконец-то нет недостатка в деньгах. И... если бы я на время могла совершенно забыть о себе, о рецензиях, о своей славе, о своем положении в ряду писателей — которое обязательно придет теперь и продлится 8—9 лет, — тогда я была бы тем, чем главным образом являюсь: подвижной, радостной, любопытной, напористой. Странные, поразительные взлеты и падения; если сравнить с американцами в «Меркурии»... Нет, ради бога, никаких сравнений: пусть все похвалы и вся ругань уйдут

на дно или всплывут на поверхность, но не мешают мне идти моим путем. И любить людей. И давайте летать, в жизни, вне зависимости от того, на какой вы стороне.

Полагаю, это очень разумно. Все кончено и забыто.

Сейчас самое главное (1) вопрос о биографии Р.* Приехала Хелен**. Говорит, и она и М.*** хотят этого. Итак, я жду. Что я чувствую? Я должна быть свободна, тогда есть шанс написать биографию; великолепный трудный шанс — это лучше, чем искать объект, — но если я свободна.

Среда, 14 ноября

Сегодня четверг, 15 ноября, 10.30 утра; собираюсь взяться за перечитывание и переписывание «Паргитеров»: ужасное мгновение.

12.45. Ну вот, страшный шаг сделан, и я начала переписывать «Паргитеров». Боже, Боже! Десять страниц в день — 90 дней. Три месяца. Эта вещь должна стать меньше; каждая сцена — должна стать сценой; больше драматизма; контраста; в каждой доминирует что-то одно; некоторые будут обобщены. Так или иначе, это выпустит на волю поток и докажет, что лишь искусство способно придать ему пропорции: итак, чертовски неприятно, как я провижу — отжимать разбухшую массу — вновь понадобятся мозги, и забыты все мухи и блохи.

Кстати: я в отчаянии от того, как плохо написала книгу; не могу понять, неужели я это натворила — да еще с такой радостью; это вчера; сегодня она опять кажется мне хорошей. Кстати, может послужить другим Вирджиниям с другими книгами утешением, что так оно всегда бывает: вверх-вниз, вверх-вниз; истина известна только Богу.

Среда, 21 ноября

В воскресенье к чаю — Марджери Фрай. Долгий спор насчет книги о Роджере: не очень продуктивный. Она говорит, что хочет получить от меня исследование творчества, усиленное главами о других аспектах. Я говорю: хорошо, но такие книги нечи-

* Роджер Фрай.

** Хелен Анреп.

*** Марджери Фрай.

табельны. О, конечно же, я не хочу лишать вас свободы, говорит она. Должна же я что-нибудь рассказать о его жизни, говорю я. Семья... Знаешь, боюсь, мне придется попросить тебя быть осмотрительной, говорит она. В заключение — она должна написать в «Н. С.» и попросить его письма, чтобы я просмотрела их, после чего мы все обсудим — полагаю, это растянется на много месяцев. Я планирую работу над «Паргитерами» и одновременно чтение бумаг Роджера, чтобы к следующему октябрю начать писать, если это будет решено. И что?

Понедельник, 2 декабря

Не странно ли? Несколько дней я совсем не могу читать Данте после работы над «Паргитерами»: а в другие дни, наоборот, он очень помогает мне и возвышает меня. Вытаскивает из массы слов. Однако сегодня (я работала над сценой в Доме) я слишком радуюсь. Сегодня я считаю, что написала хорошую книгу. Опять я как в пекле. Но я остановлюсь, как только допишу сцену похорон; и успокою свои мозги. Кстати, напишу рождественскую пьесу: «Новообращенный», фарс — шутки ради. И сооружу статью для своей «Современной критики», и огляжусь. Дэвид Сесил о литературе: хорошая книга для читателей, но не для писателей — слишком элементарная; но есть точные замечания, снаружи. С такой критикой я, однако, покончила. И он часто ошибается: неправильно понимает, как я думаю, W. H.; хочет вывести абсолютную теорию. Мы — блумсберийцы — мертвы; так говорит Джоад. Плевать мне на него. Литтон и я — исключения. Бедняжка Фрэнсис* в это дождливое утро лежит в отеле на Расселл-сквер. Я пошла посидеть с ним. Такой же, как всегда, лишь шишка на лбу. И все понимает. Может умереть во время следующей операции или медленно заостенеть в полном параличе. Может отказать разум. Он все знает, и это стояло между нами, пока мы обменивались шутками. Пару раз он был на грани. Но я сейчас ничего не могу чувствовать — после смерти Роджера. Не могу проходить через это еще раз. Так получается. Я поцеловала его. «В первый раз — такой целомудренный поцелуй», — сказал он. Я поцеловала его еще раз. Но я не должна плакать, подумала я, и ушла.

* Фрэнсис Биррелл.

Среда, 18 декабря

Вчера разговаривала с Фрэнсисом. Он умирает: у него нет сомнений. Изменилось разве что выражение лица. Нет надежды. Служитель говорит, что он каждый час спрашивает, как долго это будет продолжаться, и ждет конца. Он был в точности таким, как всегда: никакого бреда, никакой непоследовательности. Хвала Афинам. Душа заслуживает бессмертия, как сказал Л. Мы вернулись, счастливые, что живы. Каково это — лежать в ожидании смерти? как ужасна и как непонятна сама смерть. Я пишу торопливо, потому что собираюсь на концерт Анджелики; прекрасный тихий день.

Воскресенье, 30 декабря

Так как я забыла свою тетрадь, то пишу на отдельных страничках. Год заканчивается: проклятый лай собак; я сижу в моем новом домике; и сейчас не более и не менее, как 3.10, и идет дождь; у коровы ишиас; и мы отправляем ее в Льюис, чтобы самим сесть там в поезд, идущий в Лондон; после этого мы пьем чай в Чарльстоне, играем пьесу и обедаем. Это было, должна сказать, самое мокрое Рождество, но я наверняка преувеличиваю, не зная официальных данных. Еще вчера мне удалась лишь иллюзорная прогулка по ферме; но, слава богу, после Рождества прекратился дождь и собаки мисс Эмери перестали лаять.

Глупо было приезжать сюда без дневника, зная, что каждое утро, когда я заканчиваю с «Паргитерами», у меня полна голова идей. Очень интересно их записывать. Текст я переделываю основательно. Моя идея — соединить сцены; сделать все напряженнее и короче; потом драма; потом повествование. И везде нужно держать ритм и делать правильные повороты. Как бы то ни было, книга получается очень разнообразной. Думаю, ее надо назвать «Обыкновенные люди». Я закончила, более или менее, с Мэгги и Сарой, с первой сценой в спальне: как радостно мне писалось! Но не осталось ни одной из первоначальных фраз. Ничего, мне кажется, у книги появилась душа. Написала примерно страниц шестьдесят, прежде чем поймала ее. Возвращаясь назад, вижу, как она прыгает, будто желтая канарейка на своей жердочке. Мне хотелось сделать М. и С. храбрыми персонажами и показать это с помощью диалога. Потом переход к визиту Мартина к Элеоноре: потом долгий день, заканчивающийся

ся смертью Короля. Я выбросила страниц 80 или 90, в основном из-за путаницы в страницах.

Конец года: Фрэнсис умирает в частной лечебнице в Коллингхэм-плейс. Я вижу выражение его лица: словно он понял, что такое одинокая печаль. Смерть — мысль о том, как лежишь там одна, глядишь на это, когда тебе 45 или около того, и чувствуешь великое желание жить. «Итак, “Нью стейтсмен” прогрессирует на глазах, не правда ли?» — «А он умер» (о Бримли Джонсоне), с некоторым раздражением. Это всё не точно.

Все-таки мы тут, с коровой, которая хромает, и с собаками; как всегда, очень счастливы, полагаю; переполнена идеями, Л. заканчивает свое утреннее «Quack Quack»; обезьянка Зет ползет с кресла на кресло — ворча, на его голову.

А Роджер мертв. Надо ли мне писать о нем? Придется пошевелить тлеющие угли — я имею в виду желание разжечь настоящий огонь. Итак, надо готовиться к поездке в дождь. Собаки все еще лают.

Вторник, 1 января

Пьеса*, в общем-то, ерундовая; однако я не собираюсь делать над собой усилие и производить хорошее впечатление как драматург. А еще у меня была прекрасная прошлогодняя прогулка (вчера) вокруг долины, но по новой дороге, и я встретила мистера Фрита, мы поговорили о дороге; а потом я отправилась в Льюис, где взяла машину до Мартина, после чего вернулась домой и читала святого Павла и документы. Надо купить Ветхий Завет. Я читаю Деяния апостолов. Наконец-то закрываю темное пятно в своем образовании. Что произошло в Риме? Есть еще семь томов Ренана. Литтон называл его «медоточивым». Йейтс и Олдос недавно согласились, что главная цель их творчества — избежать «литературности». Олдос рассказал, каким незыблемым «литературный» идол был среди викторианцев. Йейтс заметил, что хотел бы пользоваться словами обычных людей. Эта перемена в нем произошла, пока он писал пьесы. А я возразила, покраснев, что все равно смысл его сочинений остается трудным для понимания. Что такое «литературность»? Довольно интересный вопрос. Можно было бы заняться им, если бы я задумывала критическую книгу. Но сейчас мне хочется написать о том, как быть презираемым. Мой мозг качает идею за идеей. И мне надо закончить «Обыкновенных людей»; потом Роджер и презираемые. О Роджере начну в октябре 1935 года. Получится ли? В октябре опубликую «О. л.»; и в 1936 году буду работать над двумя темами. Помогите мне, Боже! Работы

* «Чистая вода, комедия». В. Вулф написала эту пьесу, чтобы разыграть ее на вечере 18 января. Актерами были Ванесса Белл, Анджелика Белл, Адриан Стивен и Леонард Вулф (*Прим. переводчика*).